

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий Далёкая Радуга

1

Танина ладонь, тёплая и немного шершавая, лежала у него на глазах, и больше ему ни до чего не было дела. Он чувствовал горько-солёный запах пыли, скрипели спросонок степные птицы, и сухая трава колола и щекотала затылок. Лежать было жёстко и неудобно, шея чесалась нестерпимо, но он не двигался, слушая тихое, ровное дыхание Тани. Он улыбался и радовался темноте, потому что улыбка была, наверное, до неприличия глупой и довольной.

Потом не к месту и не ко времени в лаборатории на вышке заверещал сигнал вызова. Пусть! Не первый раз. В этот вечер все вызовы не к месту и не ко времени.

– Робик, – шёпотом сказала Таня. – Слышишь?

– Совершенно ничего не слышу, – пробормотал Роберт.

Он помигал, чтобы пощекотать Танину ладонь ресницами. Всё было далеко-далеко и совершенно не нужно. Патрик, вечно обалделый от недосыпания, был далеко. Маляев со своими манерами ледяного сфинкса был далеко. Весь их мир постоянной спешки, постоянных заумных разговоров, вечного недовольства и озабоченности, весь этот вневременный мир, где презирают ясное, где радуются только непонятному, где люди забыли, что они мужчины и женщины, – всё это было далеко-далеко... Здесь была только ночная степь, на сотни километров одна только пустая степь, поглотившая жаркий день, тёплая, полная тёмных, возбуждающих запахов.

Снова заверещал сигнал.

– Опять, – сказала Таня.

– Пускай. Меня нет. Я помер. Меня съели землеройки. Мне и так хорошо. Я тебя люблю. Никуда не хочу идти. С какой стати? А ты бы пошла?

– Не знаю.

– Это потому, что ты любишь недостаточно. Человек, который любит достаточно, никогда никуда не ходит.

– Теоретик, – сказала Таня.

– Я не теоретик. Я практик. И, как практик, я тебя спрашиваю: с какой стати я вдруг куда-то пойду? Любить надо уметь. А вы не умеете. Вы только рассуждаете о любви. Вы не любите любовь. Вы любите о ней рассуждать. Я много болтаю?

– Да. Ужасно!

Он снял её руку с глаз и положил себе на губы. Теперь он видел небо, затянутое облаками, и красные опознавательные огоньки на фермах вышки на двадцатиметровой высоте. Сигнал верещал непрерывно, и Роберт представил себе сердитого Патрика, как он нажимает на клавишу вызова, обиженно выпятив добрые толстые губы.

– А вот я тебя сейчас выключу, – сказал Роберт невнятно. – Танёк, хочешь, он у меня замолчит навеки? Пусть уж всё будет навеки. У нас будет любовь навеки, а он замолчит навеки.

В темноте он видел её лицо – светлое, с огромными блестящими глазами. Она отняла руку и сказала:

– Давай я с ним поговорю. Я скажу, что я галлюцинация. Ночью всегда бывают галлюцинации.

– У него никогда не бывает галлюцинаций. Такой уж это человек, Танечка. Он никогда себя не обманывает.

– Хочешь, я скажу тебе, какой он? Я очень люблю угадывать характеры по

видеофонным звонкам. Он человек упрямый, злой и бестактный. И он ни за какие коврижки не станет сидеть с женщиной ночью в степи. Вот он какой – как на ладони. И про ночь он знает только, что ночью темно.

– Нет, – сказал справедливый Роберт. – Насчёт коврижек верно. Но зато он добрый, мягкий и рохля.

– Не верю, – сказала Таня. – Ты только послушай. – Они послушали. – Разве это рохля?

Это явный «tenacem propositi virum»¹.

– Правда? Я ему скажу.

– Скажи. Пойди и скажи.

– Сейчас?

– Немедленно.

Роберт встал, а она осталась сидеть, обхватив руками колени.

– Только поцелуй меня сначала, – попросила она.

В кабине лифта он прислонился лбом к холодной стене и некоторое время стоял так, с закрытыми глазами, смеясь и трогая языком губы. В голове не было ни единой мысли, только какой-то торжествующий голос бессвязно вопил: «Любит!... Меня!... Меня любит!... Вот вам, вы!... Меня!...» Потом он обнаружил, что кабина давно остановилась, и попытался открыть дверь. Дверь нашлась не сразу, а в лаборатории оказалось множество лишней мебели: он ронял стулья, сдвигал столы и ударялся о шкафы до тех пор, пока не сообразил, что забыл включить свет. Заливаясь смехом, он нащупал выключатель, поднял кресло и присел к видеофону.

Когда на экране появился сонный Патрик, Роберт приветствовал его по-дружески:

– Добрый вечер, поросёночек! И чего это тебе не спится, синичка ты моя, трясогузочка?

Патрик озадаченно глядел на него, часто помаргивая воспалёнными веками.

– Что же ты смотришь, пёсик? Верещал–верещал, оторвал меня от важных занятий, а теперь молчишь!

Патрик, наконец, открыл рот.

– У тебя... ты... – он постучал себя по лбу, и на лице его появилось вопросительное выражение. – А?...

– Ещё как! – воскликнул Роберт. – Одиночество! Тоска! Предчувствия! И мало того – галлюцинации! Чуть не забыл!

– Ты не шутишь? – серьёзно спросил Патрик.

– Нет! На посту не шутят. Но ты не обращай внимания и приступай.

Патрик неуверенно моргал.

– Не понимаю, – признался он.

– Да где уж тебе, – злорадно сказал Роберт. – Это эмоции, Патрик! Знаешь?... Как бы это тебе попроще, попонятнее?... Ну, не вполне алгоритмируемые возмущения в сверхсложных логических комплексах. Воспринял?

– Ага, – сказал Патрик. Он поскрёб пальцами подбородок, сосредотачиваясь. – Почему я тебе звоню, Роб? Вот в чём дело: опять где-то утечка. Может быть, это и не утечка, но, может быть, утечка. На всякий случай проверь ульмотроны. Какая-то странная сегодня Волна...

Роберт растерянно посмотрел в распахнутое окно. Он совсем забыл про извержение. Оказывается, я сижу здесь ради извержений. Не потому, что здесь Таня, а потому что где-то там – Волна.

– Что ты молчишь? – терпеливо спросил Патрик.

– Смотрю, как там Волна, – сердито сказал Роберт.

Патрик вытаращил глаза.

¹ «Муж, упорный в своих намерениях» (Гораций)

- Ты видишь Волну?
- Я? С чего ты взял?
- Ты только что сказал, что смотришь.
- Да, смотрю!
- Ну?
- И всё. Что тебе от меня надо?

Глаза у Патрика опять посоловели.

– Я тебя не понял, – сказал он. – О чём это мы говорили? Да! Так ты непременно проверь ульмотроны.

– Ты понимаешь, что говоришь? Как я могу проверить ульмотроны?

– Как–нибудь, – сказал Патрик. – Хотя бы подключения... Мы совсем потерялись. Я тебе объясню сейчас. Сегодня в институте послали к Земле массу... впрочем, это ты всё знаешь. – Патрик помахал перед лицом растопыренными пальцами. – Мы ждали Волну большой мощности, а регистрируется какой–то жиденький фонтанчик. Понимаешь, в чём соль? Жиденький такой фонтанчик... фонтанчик... – Он придвинулся к своему видеофону вплотную, так что на экране остался только огромный, тусклый от бессонницы глаз. Глаз часто мигал. – Понял? – оглушительно загремело в репродукторе. – Аппаратура у нас регистрирует квази–нуль поле. Счётчик Юнга даёт минимум... можно пренебречь. Поля ульмотронов перекрываются так, что резонирующая поверхность лежит в фокальной гиперплоскости, представляешь? Квази–нуль поле двенадцатикомпонентное, и приёмник свёртывает его по шести чётным компонентам. Так что фокус шестикомпонентный.

Роберт подумал о Тане, как она терпеливо сидит внизу и ждёт. Патрик всё бубнил, придвигаясь и отодвигаясь, голос его то громыхал, то становился еле слышен, и Роберт, как всегда, очень скоро потерял нить его рассуждений. Он кивал, он картинно морщил лоб, подымал и опускал брови, но он решительно ничего не понимал и с невыносимым стыдом думал, что Таня сидит там, внизу, уткнув подбородок в колени, и ждёт, пока он закончит свой важный и непостижимый для непосвящённых разговор с ведущими нуль–физиками планеты, пока он не выскажет ведущим нуль–физикам свою, совершенно оригинальную точку зрения по вопросу, из–за которого его беспокоят так поздно ночью, и пока ведущие нуль–физики, удивляясь и покачивая головами, не занесут эту точку зрения в свои блокноты.

Тут Патрик замолчал и поглядел на него со странным выражением. Роберт хорошо знал это выражение, оно преследовало его всю жизнь. Разные люди – и мужчины и женщины – смотрели на него так. Сначала смотрели равнодушно или ласково, затем выжидающе, потом с любопытством, но рано или поздно наступал момент, когда на него начинали смотреть вот *так*. И каждый раз он не знал, что ему делать, что говорить и как держать себя. И как жить дальше.

Он рискнул.

– Пожалуй, ты прав, – озабоченно заявил он. – Однако всё это следует тщательно продумать.

Патрик опустил глаза.

– Продумай, – сказал он, неловко улыбаясь. – И не забудь, пожалуйста, проверить ульмотроны.

Экран погас, и наступила тишина. Роберт сидел сгорбившись, вцепившись обеими руками в холодные шероховатые подлокотники. Кто–то когда–то сказал, что дурак, понимающий, что он дурак, уже тем самым не дурак. Может быть, когда–нибудь так оно и было. Но сказанная глупость – всегда глупость, а я никак по–другому не могу. Я очень интересный человек: всё, что я говорю, старо, всё, о чём я думаю, банально, всё, что мне удалось сделать, сделано в позапрошлом веке. Я не просто дубина, я дубина редкостная, музейная, как гетманская булава. Он вспомнил, как старый Ничепоренко поглядел однажды с задумчивостью в его, Роберта, преданные глаза и промолвил: «Милый Скляр, вы сложены как античный бог. И, как всякий бог, простите меня, вы совершенно не совместимы с наукой...»

Что-то треснуло. Роберт перевёл дух и с изумлением уставился на обломок подлокотника, зажатый в белом кулаке.

– Да, – сказал он вслух. – Это я могу. Патрик не может. Ничепоренко тоже не может. Один я могу.

Он положил обломок на стол, встал и подошёл к окну. За окном было темно и жарко. Может быть, мне уйти, пока не выгнали? Да, только как я буду без них? И без этого удивительного чувства по утрам, что, может быть, сегодня лопнет, наконец, эта невидимая и непроницаемая оболочка в мозгу, из-за которой я не такой, как они, и я тоже начну понимать их с полуслова и вдруг увижу в каше логико-математических символов нечто совершенно новое, и Патрик похлопает меня по плечу и скажет радостно: «Эт-то эдорово! Как это ты?», а Маляев нехотя выдавит: «Умело, умело... Не лежит на поверхности...» И я начну уважать себя.

– Урод, – пробормотал он.

Надо было проверять ульмотроны, а Таня пусть посидит и посмотрит, как это делается. Хорошо ещё, что она не видела моей физиономии, когда погас экран.

– Танюша, – позвал он в окно.

– Ау?

– Танек, ты знаешь, что в прошлом году Роджер ваял с меня «Юность Мира»?

Таня, помолчав, негромко сказала:

– Подожди, я поднимусь к тебе.

* * *

Роберт знал, что ульмотроны в порядке, он это чувствовал. Но всё же он решил проверить всё, что можно было проверить в лабораторных условиях, во-первых, для того, чтобы отдышаться после разговора с Патриком, а во-вторых, потому, что он умел и любил работать руками. Это всегда развлекало его и на какое-то время давало ему то радостное ощущение собственной значительности и полезности, без которого совершенно невозможно жить в наше время.

Таня – милый, деликатный человек – сначала молча сидела поодаль, а потом так же молча принялась помогать ему. В три часа ночи снова позвонил Патрик, и Роберт сказал ему, что никакой утечки нет. Патрик был обескуражен. Некоторое время он сопел перед экраном, подсчитывая что-то на клочке бумаги, потом скатал бумагу в трубочку и по обыкновению задал риторический вопрос. «И что мы по этому поводу должны думать, Роб?» – спросил он.

Роберт покосился на Таню, которая только что вышла из душевой и тихонько присела сбоку от видеофона, и осторожно ответил, что вообще не видит в этом ничего особенного. «Обычный очередной фонтан, – сказал он. – После вчерашней нуль-транспортировки был такой. И на той неделе такой же». Затем он подумал и добавил, что мощность фонтана соответствует примерно ста граммам транспортированной массы. Патрик всё молчал, и Роберту показалось, что он колеблется. «Всё дело в массе, – сказал Роберт. Он посмотрел на счётчик Юнга и совсем уже уверенно повторил: – Да, сто – сто пятьдесят граммов. Сколько сегодня запустили?...» – «Двадцать килограммов»,

– ответил Патрик. «Ах, двадцать кило... Да, тогда не получается. – И тут Роберта осенило: – А по какой формуле вы подсчитывали мощность?» – спросил он. «По Драмбе», – безразлично ответил Патрик. Роберт так и подумал: формула Драмбы оценивала мощность с точностью до порядка, а у Роберта давно уже была припасена собственная, тщательно выверенная и выписанная и даже обведённая цветной рамочкой универсальная формула оценки мощности извержения вырожденной материи. И сейчас, кажется, наступил самый подходящий момент, чтобы продемонстрировать Патрику все её преимущества.

Роберт уже взялся было за карандаш, но тут Патрик вдруг уплыл с экрана. Роберт ждал, закусив губу. Кто-то спросил: «Ты собираешься выключать?» Патрик не отзывался. К экрану подошёл Карл Гофман, рассеянно-ласково кивнул Роберту и позвал в сторону: «Патрик, ты

ещё будешь говорить?» Голос Патрика пробубнил издали: «Ничего не понимаю. Придётся этим заняться обстоятельно». – «Я спрашиваю, ты разговаривать будешь ещё?» – повторил Гофман. «Да нет же, нет...» – раздражённо откликнулся Патрик. Тогда Гофман, виновато улыбаясь, сказал: «Прости, Роба, мы здесь спать укладываемся. Я выключу, а?»

Стиснув зубы так, что затрещало за ушами, Роберт нарочито медленным движением положил перед собой лист бумаги, несколько раз подряд написал заветную формулу, пожал плечами и бодро сказал:

– Я так и думал. Всё ясно. Теперь будем пить кофе.

Он был отвратителен себе до последней степени и сидел перед шкафчиком с посудой до тех пор, пока снова не почувствовал себя в состоянии владеть лицом. Таня сказала:

– Кофе свари ты, ладно?

– Почему я?

– Ты вари, а я посмотрю.

– Что это ты?

– Люблю смотреть, как ты работаешь. Ты очень *совершенно* работаешь. Ты не делаешь ни одного лишнего движения.

– Как кибер, – сказал он, но ему было приятно.

– Нет. Не как кибер. Ты работаешь совершенно. А совершенное всегда радуется.

– «Юность Мира», – пробормотал он. Он был красен от удовольствия.

Он расставил чашки и подкатил столик к окну. Они сели, и он разлил кофе. Таня сидела боком к нему, положив ногу на ногу. Она была замечательно красива, и его опять охватили какое-то щенячье изумление и растерянность.

– Таня, – сказал он. – Этого не может быть. Ты галлюцинация.

Она улыбалась.

– Можешь смеяться, сколько угодно. Я и без тебя знаю, что у меня сейчас жалкий вид. Но я ничего не могу с собой поделать. Мне хочется сунуть голову тебе под мышку и вертеть хвостом. И чтобы ты похлопала меня по спине и сказала: «Фу, глупый, фу!...»

– Фу, глупый, фу! – сказала Таня.

– А по спине?

– А по спине потом. И голову под мышку потом.

– Хорошо, потом. А сейчас? Хочешь, я сделаю себе ошейник? Или намордник...

– Не надо намордник, – сказала Таня. – Зачем ты мне в наморднике?

– А зачем я тебе без намордника?

– Без намордника ты мне нравишься.

– Слуховая галлюцинация, – сказал Роберт. – Чем это я могу тебе нравиться?

– У тебя ноги красивые.

Ноги были слабым местом Роберта. У него они были мощные, но слишком толстые. Ноги «Юности Мира» были изваяны с Карла Гофмана.

– Я так и думал, – сказал Роберт. Он залпом выпил остывший кофе. – Тогда я скажу, за что я люблю тебя. Я эгоист. Может быть, я последний эгоист на Земле. Я люблю тебя за то, что ты единственный человек, способный привести меня в хорошее настроение.

– Это моя специальность, – сказала Таня.

– Замечательная специальность! Плохо только, что от тебя приходят в хорошее настроение и стар и млад. Особенно млад. Какие-то совершенно посторонние люди. С нормальными ногами.

– Спасибо, Роби.

– В последний раз в Детском я заметил одного малька. Зовут его Валя... или Варя... Этаким белобрысым, конопатым, с зелёными глазами.

– Мальчик Варя, – сказала Таня.

– Не придирайся. Я обвиняю. Этот Варя своими зелёными глазами смел на тебя смотреть так, что у меня руки чесались.

– Ревность оголтелого эгоиста.

– Конечно, ревность.

– А теперь представь, как ревнует он.

– Что–о?

– И представь, какими глазами он смотрел на тебя. На двухметровую «Юность Мира». Атлет, красавец, физик–нулевик несёт воспитательницу на плече, а воспитательница тает от любви...

Роберт счастливо засмеялся.

– Танюша, как же так? Мы же были тогда одни!

– Это вы были одни. Мы в Детском никогда не бываем одни.

– Да–а... – протянул Роберт. – Помню я эти времена, помню. Хорошенькие воспитательницы и мы, пятнадцатилетние балбесы... Я до того доходил, что бросал цветы в окно. Слушай, и часто это бывает?

– Очень, – задумчиво сказала Таня. – Особенно часто с девочками. Они развиваются раньше. А воспитатели у нас, знаешь, какие? Звездолётчики, герои... Это пока тупик в нашем деле.

Тупик, подумал Роберт. И она, конечно, очень рада этому тупику. Все они радуются тупикам. Для них это отличный предлог, чтобы ломать стены. Так и ломают всю жизнь одну стену за другой.

– Таня, – сказал он. – Что такое дурак?

– Ругательство, – ответила Таня.

– А ещё что?

– Больной, которому не помогают никакие лекарства.

– Это не дурак, – возразил Роберт. – Это симулянт.

– Я не виновата. Эта японская пословица: «Нет лекарства, которое излечивает дурака».

– Ага, – сказал Роберт. – Значит, влюблённый тоже дурак. «Влюблённый болен, он неисцелим». Ты меня утешила.

– А разве ты влюблён?

– Я неисцелим.

Тучи разошлись и открыли звёздное небо. Близилось утро.

– Смотри, вон Солнце, – сказала Таня.

– Где? – спросил Роберт без особого энтузиазма.

Таня выключила свет, села к нему на колени и, прижавшись щекой к его щеке, стала показывать.

– Вот четыре яркие звезды – видишь? Это Коса Красавицы. Левее самой верхней сла–абенькая звёздочка. Это наше Солнце...

Роберт поднял её на руки, встал, осторожно обогнул столик и только тогда в зеленоватом сумеречном свете приборов увидел длинную человеческую фигуру в кресле перед рабочим столом. Он вздрогнул и остановился.

– Я думаю, теперь можно включить свет, – сказал человек, и Роберт сразу понял, кто это.

– И появился третий, – сказала Таня. – Пусти–ка меня, Роб.

Она высвободилась и нагнулась, ища упавшую туфлю.

– Знаете что, Камилл, – раздражённо начал Роберт.

– Знаю, – сказал Камилл.

– Чудеса, – проговорила Таня, надевая туфлю. – Никогда не поверю, что у нас плотность населения один человек на миллион квадратных километров. Хотите кофе?

– Нет, благодарю вас, – сказал Камилл.

Роберт включил свет. Камилл, как всегда, сидел в очень неудобной, удивительно неприятной для глаз позе. Как всегда, на нём была белая пластмассовая каска, закрывающая лоб и уши, и, как всегда, лицо его выражало снисходительную скуку, и ни любопытства, ни смущения не было в его круглых немигающих глазах. Роберт, жмурясь от света, спросил:

– Вы хоть недавно здесь?

– Недавно. Но я не смотрел на вас и не слушал, что вы говорите.

– Спасибо, Камилл, – весело сказала Таня. Она причёсывалась. – Вы очень тактичны.

– Бестактны только бездельники, – сказал Камилл.

Роберт разозлился.

– Между прочим, Камилл, что вам здесь надо? И что это за надоевшая манера появляться как привидение?

– Отвечаю по порядку, – спокойно произнёс Камилл. Это тоже была его манера – отвечать по порядку. – Я приехал сюда потому, что начинается извержение. Вы отлично знаете, Роби, – он даже глаза закрыл от скуки, – что я приезжаю сюда каждый раз, когда перед фронтом вашего поста начинается извержение. Кроме того... – Он открыл глаза и некоторое время молча смотрел на приборы. – Кроме того, вы мне симпатичны, Роби.

Роберт покосился на Таню. Таня слушала очень внимательно, замерев с поднятой расчёской.

– Что касается моих манер, – продолжал Камилл монотонно, – то они странны. Манеры любого человека странны. Естественными кажутся только собственные манеры.

– Камилл, – сказала Таня неожиданно. – А сколько будет шестьсот восемьдесят пять умножить на три миллиона восемьсот тысяч пятьдесят три?

К своему огромному изумлению, Роберт увидел, как на лице Камилла проступило нечто похожее на улыбку. Зрелище было жутковатое. Так мог бы улыбаться счётчик Юнга.

– Много, – ответил Камилл. – Что-то около трёх миллиардов.

– Странно, – вздохнула Таня.

– Что «странно»? – тупо спросил Роберт.

– Точность маленькая, – объяснила Таня. – Камилл, скажите, почему бы вам не выпить чашку кофе?

– Благодарю вас, я не люблю кофе.

– Тогда до свидания. До Детского лететь четыре часа. Робик, ты меня проводишь вниз?

Роберт кивнул и с досадой посмотрел на Камилла. Камилл разглядывал счётчик Юнга. Словно в зеркало гляделся.

* * *

Как обычно на Радуге, солнце вошло на совершенно чистое небо – маленькое белое солнце, окружённое тройным галосом. Ночной ветер утих, и стало ещё более душно. Жёлто-коричневая степь с проплешинами солончаков казалась мёртвой. Над солончаками возникли зыбкие туманные холмики – пары летучих солей.

Роберт закрыл окно и включил кондиционирование, затем не торопясь и со вкусом починил подлокотник. Камилл мягко и бесшумно расхаживал по лаборатории, поглядывая в окно, выходящее на север. Видимо, ему совсем не было жарко, а Роберту жарко было даже смотреть на него – на его толстую белую куртку, на длинные белые брюки, на круглую блестящую каску. Такие каски надевали иногда во время экспериментов нуль-физики: она предохраняла от излучений.

Впереди был целый день дежурства, двенадцать часов палящего солнца над крышей, пока не рассосутся извержения и не исчезнут все последствия вчерашнего эксперимента. Роберт сбросил куртку и брюки и остался в одних трусах. Кондиционирование работало на пределе, и ничего нельзя было сделать.

Хорошо бы плеснуть на пол жидкого воздуха. Жидкий воздух есть, но его мало, и он нужен для генератора. Придётся пострадать, подумал Роберт покорно. Он снова уселся перед приборами. Как славно, что хотя бы в кресле прохладно и обшивка совсем не липнет к телу!

В конце концов говорят, что главное – это быть на своём месте. Моё место здесь. И я не хуже других выполняю свои маленькие обязанности. И в конце концов не моя вина, что я не способен на большее. И между прочим, дело даже не в том, на месте я или нет. Просто я не могу уйти отсюда, если бы даже и захотел. Я просто прикован к этим людям, которые так

меня раздражают, и к этой грандиозной затее, в которой я так мало понимаю.

Он вспомнил, как ещё в школе поразила его эта задача: мгновенная переброска материальных тел через пропасти пространства. Эта задача была поставлена вопреки всему, вопреки всем сложившимся представлениям об абсолютном пространстве, о пространстве–времени, о каппа–пространстве... Тогда это называли «проколом Римановой складки». Потом «гиперпросачиванием», «сигма–просачиванием», «нуль–свёрткой». И, наконец, нуль–транспортровкой или, коротко, «нуль–Т». «Нуль–Т–установка». «Нуль–Т–проблематика». «Нуль–Т–испытатель». Нуль–физик. «Где вы работаете?» – «Я нуль–физик». Изумлённо–восхищённый взгляд. «Слушайте, расскажите, пожалуйста, что это такое – нуль–физика? Я никак не могу понять». – «Я тоже». Н–да...

В общем–то кое–что рассказать было бы можно. И об этой поразительной метаморфозе элементарных законов сохранения, когда нуль–переброска маленького платинового кубика на экваторе Радуги вызывает на полюсах её – почему–то именно на полюсах! – гигантские фонтаны вырожденной материи, огненные гейзеры, от которых слепнут, и страшную чёрную Волну, смертельно опасную для всего живого...

И о свирепых, пугающих своей непримиримостью схватках в среде самих нуль–физиков, об этом непостижимом расколе среди замечательных людей, которым, казалось бы, работать и работать плечом к плечу, но они таки раскололись (хотя знают об этом немногие), и если Этьен Ламондуа упрямо ведёт нуль–физику в русле нуль–транспортровки, то школа молодых считает самым важным в нуль–проблеме Волну, этого нового джинна науки, рвущегося из бутылки.

И о том, что по неясным причинам до сих пор никак не удаётся осуществить нуль–транспортровку живой материи, и несчастные собаки, вечные мученицы, прибывают на финиш комями органического шлака... И о нуль–перелётчиках, об этой «ревущей десятке» во главе с великолепным Габой, об этих здоровых, сверхтренированных ребятах, которые вот уже три года слоняются по Радуге в постоянной готовности войти в стартовую камеру вместо собаки...

– Скоро мы расстанемся, Роби, – сказал вдруг Камилл.

Задремавший было Роберт встрепенулся. Камилл стоял спиной к нему у северного окна. Роберт выпрямился и провёл рукой по лицу. Ладонь стала мокрой.

– Почему? – спросил он.

– Наука. Как это безнадежно, Роби!

– Я это давно знаю, – проворчал Роберт.

– Для вас наука – это лабиринт. Тупики, тёмные закоулки, внезапные повороты. Вы ничего не видите, кроме стен. И вы ничего не знаете о конечной цели. Вы заявили, что ваша цель – дойти до конца бесконечности, то есть вы попросту заявили, что цели нет. Мера вашего успеха не путь до финиша, а путь от старта. Ваше счастье, что вы не способны реализовать абстракции. Цель, вечность, бесконечность – это только лишь слова для вас. Абстрактные философские категории. В вашей повседневной жизни они ничего не значат. А вот если бы вы увидели весь этот лабиринт сверху...

Камилл замолчал. Роберт подождал и спросил:

– А вы видели?

Камилл не ответил, и Роберт решил не настаивать. Он вздохнул, положил подбородок на кулаки и закрыл глаза. Человек говорит и действует, думал он. И всё это внешние проявления каких–то процессов в глубине его натуры. У большинства людей натура довольно мелкая, и поэтому любые её движения немедленно проявляются внешне, как правило в виде пустой болтовни и бессмысленного размахивания руками. А у таких людей, как Камилл, эти процессы должны быть очень мощными, иначе они не пробьются к поверхности. Заглянуть бы в него хоть одним глазком. Роберту представилась зияющая бездна, в глубине которой стремительно проносятся бесформенные фосфоресцирующие тени.

Его никто не любит. Его все знают – нет на Радуге человека, который не знал бы

Камилла, – но его никто–никто не любит. В таком одиночестве я бы сошёл с ума, а Камила это кажется, совершенно не интересует. Он всегда один. Неизвестно, где он живёт. Он внезапно появляется и внезапно исчезает. Его белый колпак видят то в Столице, то в открытом море; и есть люди, которые утверждают, что его неоднократно видели одновременно и там и там. Это, разумеется, местный фольклор, но вообще всё, что говорят о Камилле, звучит странным анекдотом. У него странная манера говорить «я» и «вы». Никто никогда не видел, как он работает, но время от времени он является в Совет и говорит там непонятные вещи. Иногда его удаётся понять, и в таких случаях никто не может возразить ему. Ламондуа как–то сказал, что с рядом с Камиллом он чувствует себя глупым внуком умного деда. Вообще впечатление такое, будто все физики на планете от Этьена Ламондуа до Роберта Склярова пребывают на одном уровне...

Роберт почувствовал, что ещё немного, и он сварится в собственном поту. Он поднялся и отправился под душ. Он стоял под ледяными струями, пока кожа от холода не покрылась прыщиками и не пропало желание забраться в холодильник и заснуть.

Когда он вернулся в лабораторию, Камилл разговаривал с Патриком. Патрик морщил лоб, растерянно шевелил губами и смотрел на Камилла жалобно и заискивающе. Камилл скучно и терпеливо говорил:

– Постарайтесь учесть все три фактора. Все три фактора сразу. Здесь не нужна никакая теория, только немного пространственного воображения. Нуль–фактор в подпространстве и в обеих временных координатах. Не можете?

Патрик медленно помотал головой. Он был жалок. Камилл подождал минуту, затем пожал плечами и выключил видеофон. Роберт, растираясь грубым полотенцем, сказал решительно:

– Зачем же так, Камилл? Это же грубо. Это оскорбляет.

Камилл снова пожал плечами. Это получилось у него так, будто голова его, придавленная каской, ныряла куда–то в грудь и снова выскакивала наружу.

– Оскорбляет? – сказал он. – А почему бы и нет?

Ответить на это было нечего. Роберт инстинктивно чувствовал, что спорить с Камиллом на моральные темы бесполезно. Камилл просто не поймёт, о чём идёт речь.

Он повесил полотенце и стал готовить завтрак. Они молча поели. Камилл удовольствовался кусочком хлеба с джемом и стаканом молока. Камилл всегда очень мало ел. Потом он сказал:

– Роби, вы не знаете, они отправили «Стрелу»?

– Позавчера, – сказал Роберт.

– Позавчера... Это плохо.

– А зачем вам «Стрела», Камилл?

Камилл сказал равнодушно:

– Мне «Стрела» не нужна.

2

На окраине Столицы Горбовский попросил остановиться. Он вылез из машины и сказал:

– Очень хочется прогуляться.

– Пойдёмте, – сказал Марк Валькенштейн и тоже вылез.

На прямом блестящем шоссе было пусто, вокруг желтела и зеленела степь, а впереди сквозь сочную зелень земной растительности проглядывали разноцветными пятнами стены городских зданий.

– Слишком жарко, – возразил Перси Диксон. – Нагрузка на сердце.

Горбовский сорвал у обочины и поднёс к лицу цветочек.

– Люблю, когда жарко, – сказал он. – Пойдёмте с нами, Перси. Вы совсем обрюзгли.

Перси захлопнул дверцу.

– Как хотите. Если говорить честно, я ужасно устал от вас обоих за последние двадцать лет. Я старый человек, и мне хочется немножко отдохнуть от ваших парадоксов. И будьте любезны, не подходите ко мне на пляже.

– Перси, – сказал Горбовский, – поезжайте лучше в Детское. Я, правда, не знаю, где это, но там детишки, наивный смех, простота нравов... «Дядя!

– закричат они. – Давай играть в мамонта!»

– Только берегите бороду, – добавил Марк, осклабясь. – Они на ней повиснут.

Перси что-то буркнул себе под нос и умчался. Марк и Горбовский перешли на тропинку и неторопливо двинулись вдоль шоссе.

– Стареет бородач, – сказал Марк. – Вот и мы ему уже надоели.

– Да ну что вы, Марк, – сказал Горбовский. Он вытащил из кармана проигрыватель. – Ничего мы ему не надоели. Просто он устал. И потом он разочарован. Шутка сказать – человек потратил на нас двадцать лет: уж так ему хотелось узнать, как влияет на нас космос. А он почему-то не влияет... Я хочу Африку. Где моя Африка? Почему у меня всегда все записи перепутаны?

Он брёл по тропинке следом за Марком, с цветком в зубах, настраивая проигрыватель и поминутно спотыкаясь. Потом он нашёл Африку, и жёлто-зелёная степь огласилась звуками тамтама. Марк поглядел через плечо.

– Выплюньте эту дрянь, – сказал он брезгливо.

– Почему же дрянь? Цветочек.

Тамтам гремел.

– Сделайте хотя бы потише, – сказал Марк.

Горбовский сделал потише.

– Ещё тише, пожалуйста.

Горбовский сделал вид, что делает тише.

– Вот так? – спросил он.

– Не понимаю, почему я его до сих пор не испортил? – сказал Марк в пространство.

Горбовский поспешно сделал совсем тихо и положил проигрыватель в нагрудный карман.

Они шли мимо весёлых разноцветных домиков, обсаженных сиренью, с одинаковыми решётчатыми конусами энергоприёмников на крышах. Через тропинку, крадучись, прошла рыжая кошка. «Кис-кис-кис!» – обрадованно позвал Горбовский. Кошка опростетью кинулась в густую траву и оттуда поглядела дикими глазами. В знойном воздухе лениво гудели пчёлы. Откуда-то доносился густой рыкающий храп.

– Ну и деревня, – сказал Марк. – Столица. Спят до девяти...

– Ну зачем вы так, Марк, – возразил Горбовский. – Я, например, нахожу, что здесь очень мило. Пчёлки... Киска вон давеча пробежала... Что вам ещё нужно? Хотите, я громче сделаю?

– Не хочу, – сказал Марк. – Не люблю я таких ленивых посёлков. В ленивых посёлках живут ленивые люди.

– Знаю я вас, знаю, – сказал Горбовский. – Вам бы всё борьбу, чтобы никто ни с кем не соглашался, чтобы сверкали идеи, и драку бы неплохо, но это уже в идеале... Стойте, стойте! Тут что-то вроде крапивы. Красивая, и очень больно...

Он присел перед пышным кустом с крупными чернополосыми листьями. Марк сказал с досадой:

– Ну что вы тут расселись, Леонид Андреевич? Крапивы не видели?

– Никогда в жизни не видел. Но я читал. И знаете, Марк, давайте я спишу вас с корабля... Вы как-то испортились, избаловались. Разучились радоваться простой жизни.

– Я не знаю, что такое простая жизнь, – сказал Марк, – но все эти цветочки-крапивки, все эти стёжки-дорожки и разнообразные тропиночки – это, по-моему, Леонид Андреевич, только разлагает. В мире ещё достаточно неустройства, рано ещё перед всей этой буколиккой ахать.

– Неустройства – да, есть, – согласился Горбовский. – Только они ведь всегда были и всегда будут. Какая же это жизнь без неустройства? А в общем–то всё очень хорошо. Вот слышите, поёт кто–то... Невзирая ни на какие неустройства...

Навстречу им по шоссе вынесся гигантский грузовой атомокар. На ящиках в кузове сидели здоровенные полуголые парни. Один из них, самозабвенно изогнувшись, бешено бил рукой по струнам банджо, и все дружно ревели:

Мне нужна жена – лучше или хуже,
Лишь бы была женщиной – женщиной без мужа...

Атомокар промчался мимо, и волна горячего воздуха на секунду пригнула траву. Горбовский сказал:

– Вот это должно нравиться, Марк. В девять часов люди уже на ногах и работают. А песня вам понравилась?

– Это тоже не то, – упрямо сказал Марк.

Тропинка свернула в сторону, огибая огромный бетонированный бассейн с тёмной водой. Они пошли через заросли высокой, по грудь, желтоватой травы. Стало прохладнее – сверху нависла густая листва чёрных акаций.

– Марк, – сказал Горбовский шёпотом. – Девушка идёт!

Марк остановился как вкопанный. Из травы вынырнула высокая полная брюнетка в белых шортах и в коротенькой белой курточке с оторванными пуговицами. Брюнетка с заметным напряжением тянула за собой тяжёлый кабель.

– Здравствуйте! – сказали хором Горбовский и Марк.

Брюнетка вздрогнула и остановилась. На лице её изобразился испуг. Горбовский и Марк переглянулись.

– Здравствуйте, девушка! – рявкнул Марк.

Брюнетка выпустила кабель из рук и понурилась.

– Здравствуйте, – прошептала она.

– У меня такое ощущение, Марк, – сказал Горбовский, – что мы помешали.

– Может быть, вам помочь? – галантно спросил Марк.

Девушка смотрела на него исподлобья.

– Змеи, – сказала вдруг она.

– Где? – воскликнул Горбовский с ужасом и поднял одну ногу.

– Вообще змеи, – пояснила девушка. Она оглядела Горбовского. – Видели сегодня восход? – вкрадчиво осведомилась она.

– Мы сегодня видели четыре восхода, – небрежно сказал Марк.

Девушка прищурилась и точно рассчитанным движением поправила волосы. Марк сейчас же представился:

– Валькенштейн. Марк.

– Д–звездолётчик, – добавил Горбовский.

– Ах, Д–звездолётчик, – сказала девушка со странной интонацией. Она подняла кабель, подмигнула Марку и скрылась в траве. Кабель зашуршал по тропинке. Горбовский посмотрел на Марка. Марк смотрел вслед девушке.

– Идите, Марк, идите, – сказал Горбовский. – Это будет вполне логично. Кабель тяжеленный, девушка слабая, красивая, а вы здоровенный звездолётчик.

Марк задумчиво наступил на кабель. Кабель задёргался, и из травы донеслось:

– Вытравливай, Семён, вытравливай!...

Марк поспешно убрал ногу. Они пошли дальше.

– Странная девушка, – сказал Горбовский. – Но мила! Кстати, Марк, почему вы всё–таки не женились?

– На ком? – спросил Марк.

– Ну–ну, Марк. Не надо так. Это же все знают. Очень славная и милая женщина.

Тонкая очень и деликатная. Я всегда считал, что вы для неё несколько грубоваты. Но она, кажется, так не считала...

– Да так, не женился, – сказал Марк неохотно. – Не получилось.

Тропинка снова вывела их к шоссе. Теперь слева тянулись какие то длинные белые цистерны, а впереди блестел на солнце серебристый шпиль над зданием Совета. Вокруг по-прежнему было пусто.

– Она слишком любила музыку, – сказал Марк. – Нельзя же в каждый полёт брать с собой хориолу. Хватит с нас и вашего проигрывателя. Перси терпеть не может музыки.

– В каждый полёт, – повторил Горбовский. – Всё дело в том, Марк, что мы слишком стары. Двадцать лет назад мы не стали бы взвешивать, что ценнее – любовь или дружба. А теперь уже поздно. Теперь мы уже обречены. Впрочем, не теряйте надежды, Марк. Может быть, мы ещё встретим женщин, которые станут для нас дороже всего остального.

– Только не Перси, – сказал Марк. – Он даже не дружит ни с кем, кроме нас с вами. А влюблённый Перси...

Горбовский представил себе влюблённого Перси Диксона.

– Перси был бы отличный отец, – неуверенно предположил он.

Марк поморщился.

– Это было бы нечестно. А ребёнку не нужен хороший отец. Ему нужен хороший учитель. А человеку – хороший друг. А женщине – любимый человек. И вообще поговорим лучше о стёжках–дорожках.

Площадь перед зданием Совета была пуста, только у подъезда стоял большой неуклюжий автобус.

– Мне бы хотелось повидаться с Матвеем, – сказал Горбовский. – Пойдёмте со мной, Марк.

– Кто это – Матвей?

– Я вас познакомлю. Матвей Вязаницын. Матвей Сергеевич. Он здешний директор. Старый мой приятель, звездолётчик. Ещё из десантников. Да вы его должны помнить, Марк. Хотя нет, это было до.

– Ну что ж, – сказал Марк. – Пойдёмте. Визит вежливости. Только выключите ваш звонок. Неудобно всё–таки – Совет.

* * *

Директор им очень обрадовался.

– Великолепно! – басил он, усаживая их в кресла. – Это великолепно, что вы прилетели! Молодчина, Леонид! Ах, какой молодец! Валькенштейн? Марк? Ну как же, как же!... Однако почему вы не лысый? Леонид определённо говорил мне, что вы лысый... Ах да, это он о Диксоне! Правда, Диксон прославлен бородой, но это ничего не значит – я знаю массу бородатых лысых людей! Впрочем, вздор, вздор! Жарко у нас, вы заметили? Леонид, ты плохо питаешься, у тебя лицо дистрофика! Обедаем вместе... А пока позвольте предложить вам напитки. Вот апельсиновый сок, вот томатный, вот гранатовый... Наши собственные! Да! Вино! Своё вино на Радуге, ты представляешь, Леонид? Ну как? Странно, мне нравится... Марк, а вы? Ну, никогда бы не подумал, что вы не пьёте вина! Ах, вы не пьёте местных вин? Леонид, у меня к тебе тысяча вопросов... Я не знаю, с чего начать, а через минуту я буду уже не человек, а взбесившийся администратор. Вы никогда не видели взбесившегося администратора? Сейчас увидите. Я буду судить, карать, распределять блага! Я буду властвовать, предварительно разделив! Теперь я представляю, как плохо жилось королям и всяким там императорам–диктаторам! Слушайте, друзья, вы только, пожалуйста, не уходите! Я буду гореть на работе, а вы сидите и сочувствуйте. Мне здесь никто не сочувствует... Ведь вам хорошо здесь, правда? Окно я отворю, пусть ветерок... Леонид, ты представить себе не можешь... Марк, вы можете отодвинуться в тень. Так вот, Леонид, ты понимаешь, что здесь происходит? Радуга взбесилась, и это тянется уже второй год.

Он рухнул в застонавшее кресло перед диспетчерским пультом – огромный, дочерна загорелый, косматый, с торчащими вперёд, как у кота, усами, – распахнул до самого живота ворот сорочки и с удовольствием посмотрел через плечо на звездолётчиков, прилежно сосавших через соломинки ледяные соки. Усы его задвигались, и он раскрыл было рот, но тут на одном из шести экранов пульта появилась миловидная худенькая женщина с обиженными глазами.

– Товарищ директор, – сказала она очень серьёзно. – Я Хаггертон, вы меня, возможно, не помните. Я обращалась к вам по поводу лучевого барьера на Алебастровой горе. Физики отказываются снимать барьер.

– Как так отказываются?

– Я говорила с Родригосом – он, кажется, там главный нулевик? Он заявил, что вы не имеете права вмешиваться в их работу.

– Они морочат вам голову, Элен! – сказал Матвей. – Родригос такой же главный нулевик, как я ромашка–одуванчик. Он сервомеханик и в нуль–проблемах понимает меньше вас. Я займусь им сейчас же.

– Пожалуйста, мы вас очень просим...

Директор, мотая головой, щёлкнул переключателями.

– Алебастровая! – гаркнул он. – Дайте Пагаву!

– Слушаю, Матвей.

– Шота? Здравствуй, дорогой! Почему не снимаешь барьер?

– Снял барьер. Почему не снимаю?

– Ага, хорошо. Передай Родригосу, чтобы перестал морочить людям голову, а то я его вызову к себе! Передай, что я его хорошо помню. Как ваша Волна?

– Понимаешь... – Шота помолчал. – Интересная Волна. Так долго рассказывать, потом расскажу.

– Ну, желаю удачи! – Матвей, перевалившись через подлокотник, повернулся к звездолётчикам. – Вот кстати, Леонид! – вскричал он. – Вот кстати! Что у вас говорят о Волне?

– Где у нас? – хладнокровно спросил Горбовский и пососал через соломинку. – На «Таризэле»?

– Ну вот что ты думаешь о Волне?

Горбовский подумал.

– Ничего не думаю, – сказал он. – Может быть, Марк? – Он неуверенно посмотрел на штурмана.

Марк сидел очень прямо и официально, держа бокал в руке.

– Если не ошибаюсь, – сказал он, – Волна – это некий процесс, связанный с нуль–транспортровкой. Я знаю об этом немного. Нуль–транспортровка, конечно, интересует меня, как и всякого звездолётчика, – он слегка поклонился директору, – но на Земле нуль–проблематике не придают особого значения. По–моему, для земных дискретников это слишком частная проблема, имеющая явно прикладное значение.

Директор желчно хохотнул.

– Как это тебе нравится, Леонид? – сказал он. – Частная проблема! Да, видно, слишком далека от вас наша Радуга, и всё, что у нас происходит, кажется вам слишком маленьким. Дорогой Марк, эта самая частная проблема битком набивает всю мою жизнь, а ведь я даже не нулевик! Я изнемогаю, друзья! Позавчера я вот в этом самом кабинете собственноручно разнимал Ламондуа и Аристотеля, и теперь я смотрю на свои руки, – он вытянул перед собой мощные загорелые длани, – и, честное слово, я удивляюсь, как это на них нет укусов и царапин. А под окнами ревели две толпы, и одна гремела: «Волна! Волна!» – а другая вопила: «Нуль–Т!» И вы думаете, это был научный диспут? Нет! Это была средневековая квартирная склока из–за электроэнергии! Помните эту смешную, хотя, признаюсь, не совсем понятную книгу, где человека высекли за то, что он не гасил свет в уборной? «Золотой козёл» или «Золотой осёл»?... Так вот, Аристотель и его банда пытались высечь Ламондуа и

его банду за то, что те прибрали к своим рукам весь резерв энергии... Честная Радуга! Ещё год назад Аристотель ходил с Ламондуа в обнимку! Нулевик нулевику был друг, товарищ и брат, и никому в голову не приходило, что увлечение Форстера Волной расколует планету пополам! В каком мире я живу! Ничего не хватает: энергии не хватает, аппаратуры не хватает, из-за каждого желторотого лаборанта идёт бой! Люди Ламондуа воруют энергию, люди Аристотеля ловят и пытаются вербовать аутсайдеров – этих несчастных туристов, прилетевших отдохнуть или написать о Радуге что-нибудь хорошее! Совет – Совет!!! – превратился в конфликтный орган! Я попросил прислать мне «Римское право»... Последнее время я читаю одни исторические романы. Честная Радуга! Скоро я заведу здесь полицию и суд присяжных. Я привыкаю к новой, совершенно дикой терминологии. Позавчера я обозвал Ламондуа ответчиком, а Аристотеля истцом. Я без запинки произношу такие слова, как юриспруденция и полицейпрезидиум!...

Один из экранов засветился. Появились две круглолицые девочки лет десяти. Одна в розовом платье, другая в голубом.

– Ну, ты говори! – сказала розовая полушёпотом.

– Почему это я, когда договорились, что ты...

– Договорились, что ты!

– Вредная!... Здравствуйтесь, Матвей Семёнович.

– Сергеевич!...

– Матвей Сергеевич, здравствуйте!

– Здравствуйтесь, дети, – сказал директор. По лицу его было заметно, что он что-то забыл, а ему напомнили. – Здравствуйтесь, цыплята! Здравствуйтесь, мыши!

Розовая и голубая разом зарделись.

– Матвей Сергеевич, мы приглашаем вас в Детское на наш летний праздник.

– Сегодня, в двенадцать часов!...

– В одиннадцать!...

– Нет в двенадцать!

– Приеду! – закричал директор восторженно. – Обязательно приеду! И в одиннадцать приеду и в двенадцать!...

Горбовский допил бокал, налил себе ещё, затем лёг в кресле, вытянув ноги на середину комнаты, и поставил бокал себе на грудь. Ему было хорошо и уютно.

– Я тоже поеду в Детское, – заявил он. – Мне совершенно нечего делать. А там я скажу какую-нибудь речь. Я никогда в жизни не произносил речей, и мне ужасно хочется попробовать.

– Детское! – Директор снова перевалился через подлокотник. – Детское – это единственное место, где у нас сохраняется порядок. Дети – отличный народ! Они прекрасно понимают слово «нельзя»... О наших нулевиках этого не скажешь, нет! В прошлом году они съели два миллиона мегаватт-часов! В этом – уже пятнадцать и представили заявок ещё на шестьдесят. Вся беда в том, что они абсолютно не желают знать слова «нельзя»...

– Мы тоже не знали этого слова, – заметил Марк.

– Дорогой Марк. Мы жили с вами в хорошее время. Это был период кризиса физики. Нам не нужно было больше, чем нам давали. Да и зачем? Ну что у нас было? Д-процессы, электронная структура... Сопряжёнными пространствами занимались единицы, да и то на бумаге. А сейчас? Сейчас эта безумная эпоха дискретной физики, теория просачивания, подпространство!... Честная Радуга! Все эти нуль-проблемы! Безусому мальчишке, тонкономому лаборанту на каждый плюгавый эксперимент нужны тысячи мегаватт, уникальнейшее оборудование, которое на Радуге не создашь и которое, между прочим, выходит после эксперимента из строя... Вот вы привезли сотню ульмотронов. Спасибо вам. Но нужно-то их шесть сотен! И энергия... Энергия! Откуда я её возьму? Вы же не привезли нам энергию! Более того, вам самим нужна энергия. Мы с Канэко обращаемся к Машине: «Дай нам оптимальную стратегию!» Она, бедняга, только руками разводит...

Дверь распахнулась, и стремительно вошёл невысокий, очень изящный и красиво

одетый мужчина. В гладко зачёсанных чёрных волосах его торчали какие-то репы, неподвижное лицо выражало холодное, сдержанное бешенство.

– Лёгко на помине... – начал директор, простирая к нему руку.

– Прошу отставки, – звонким металлическим голосом сказал вошедший. – Я считаю, что не способен более работать с людьми, и поэтому прошу отставки. Извините, пожалуйста. – Он коротко поклонился звездолётчикам. – Канэко – план-энергетик Радуги. Бывший план-энергетик.

Горбовский торопливо заскрёб ногами по скользкому полу, стараясь подняться и поклониться одновременно. Бокал с соком он при этом поднял над головой и стал похож на пьяного гостя в Триклинии у Лукулла.

– Честная Радуга! – сказал директор озабоченно. – Что ещё стряслось?

– Полчаса назад Симеон Галкин и Александра Постышева тайно подключились к зональной энергостанции и взяли всю энергию на двое суток вперёд. – По лицу Канэко прошла судорога. – Машина рассчитана на честных людей. Мне неизвестна подпрограмма, учитывающая существование Галкина и Постышевой. Факт сам по себе недопустимый, хотя, к сожалению, и не новый для нас. Возможно, я справился бы с ними сам. Но я не дзюдотэ и не акробат. И я работаю не в детском саду. Я не могу допустить, чтобы мне устраивали ловушки... Они замаскировали подключение в густом кустарнике за оврагом, а поперёк тропинки натянули проволоку. Они прекрасно знали, что я должен был бежать, чтобы предотвратить огромную утечку... – Он вдруг замолчал и принялся нервно вытаскивать репы из волос.

– Где Постышева? – спросил директор, наливаясь венозной кровью.

Горбовский сел прямо и с некоторым испугом поджал ноги. На лице Марка был написан живой интерес к происходящему.

– Постышева сейчас будет здесь, – ответил Канэко. – Я уверен, что именно она является инициатором этого безобразия. Я вызвал её сюда от вашего имени.

Матвей подтянул к себе микрофон всеобщего оповещения и негромко пробасил:

– Внимание, Радуга! Говорит директор. Инцидент с утечкой энергии мне известен. Инцидент разбирается.

Он встал, боком подобрался к Канэко, положил руку ему на плечо и как-то виновато проговорил:

– Ну что делать, дружище... Я же тебе говорил: Радуга сошла с ума. Терпи, дружище!... Я тоже терплю. А Постышеву я сейчас взгрею. Она у меня не обрадуется, вот увидишь...

– Я понимаю, – сказал Канэко. – Прошу извинить меня: я был взбешён. С вашего разрешения я отправлюсь на космодром. Самое, пожалуй, неприятное дело сегодня – выдача ульмотронов. Вы знаете, пришёл десантник с грузом ульмотронов.

– Да, – сказал директор с чувством. – Я знаю. Вот. – Он уставил квадратный подбородок на звездолётчиков. – Настоятельно рекомендую – мои друзья. Командир «Тариэля» Леонид Андреевич Горбовский и его штурман Марк Валькенштейн.

– Рад, – сказал Канэко, наклонив голову с репьями.

Марк и Горбовский тоже наклонили головы.

– Постараюсь свести повреждения корабля к минимуму, – сказал Канэко без улыбки, повернулся и пошёл к двери.

Горбовский с беспокойством посмотрел ему вслед.

Дверь перед Канэко открылась, и он вежливо шагнул в сторону, уступая дорогу. В дверях стояла давешняя брюнетка в белой курточке с оторванными пуговицами. Горбовский заметил, что шорты её были прожжены сбоку, а левая рука испачкана копотью. Рядом с нею изящный и подтянутый Канэко казался пришельцем из далёкого будущего.

– Извините, пожалуйста, – сказала брюнетка бархатным голоском. – Разрешите войти. Вы меня вызывали, Матвей Сергеевич?

Канэко, отвернув лицо, обошёл её стороной и скрылся за дверью. Матвей вернулся в

кресло, сел и упёрся руками в подлокотники. Лицо его вновь посинело.

– Ты что думаешь, Постышева, – едва слышно начал он, – я не знаю, чьи это затеи?...

На экране появился розовощёкий юноша в кокетливо сдвинутом набок беретике.

– Простите, Матвей Сергеевич, – весело улыбаясь, сказал он. – Я хотел напомнить, что два комплекта ульмотронов наши.

– В порядке очереди, Карл, – буркнул Матвей.

– В порядке очереди мы первые, – сообщил юноша.

– Значит, вы получите первыми. – Матвей всё время смотрел на Постышеву, сохраняя вид свирепый и неприступный.

– Простите ещё раз, Матвей Сергеевич, но нас очень беспокоит поведение группы Форстера. Я видел, что они уже выслали на космодром свой грузовик...

– Не беспокойтесь, Карл, – сказал Матвей. Он не удержался и расплылся в улыбке. – Ты только полюбуйся, Леонид! Пришёл и ябедничает! Кто? Гофман! На кого? На учителя своего – Форстера! Ступайте, ступайте, Карл! Никто не получит вне очереди!

– Спасибо, Матвей Сергеевич, – сказал Гофман. – Мы с Маляевым очень на вас рассчитываем.

– Он с Маляевым! – сказал директор, поднимая глаза к потолку.

Экран погас и через мгновение вспыхнул снова. Пожилой угрюмый человек в тёмных очках с какими-то приспособлениями на оправе прогудел недовольно:

– Матвей, я хотел бы уточнить относительно ульмотронов...

– Ульмотроны в порядке очереди, – сказал Матвей.

Брюнетка томно вздохнула, зорко поглядела на Марка и с покорным видом присела на край кресла.

– Нам полагается вне очереди, – сказал человек в очках.

– Значит, вы получите вне очереди, – сказал Матвей. – Существует очередь внеочередников, и ты там восьмым...

Брюнетка, грациозно изогнувшись, принялась рассматривать дырку на шортах, затем, послунивав палец, стёрла сажу с локтя.

– Одну минуточку, Постышева, – сказал Матвей и наклонился к микрофону. – Внимание, Радуга! Говорит директор. Распределение ульмотронов, прибывших на звездолёте «Таризель», будет производиться по спискам, утверждённым в Совете, и никаких исключений делаться не будет. Так вот, Постышева... Вызвал я тебя для того, чтобы сказать, что ты мне надоела. Я был мягок... Да, да, я был терпелив. Я сносил всё. Ты не можешь упрекнуть меня в жестокости. Но честная Радуга! Есть же предел всему! Одним словом, передай Галкину, что я отстранил тебя от работы и с первым же звездолётом отправляю тебя на Землю.

Огромные прекрасные глаза Постышевой немедленно наполнились слезами. Марк скорбно покачал головой, Горбовский пригорюнился. Директор, выпятив челюсть, смотрел на Постышеву.

– И поздно теперь плакать, Александра, – сказал он. – Плакать надо было раньше. Вместе с нами.

В кабинет вошла хорошенькая женщина в плиссированной юбке и лёгкой кофточке. Она была подстрижена под мальчика, русая чёлка падала ей на глаза.

– Хэлло! – сказала она, приветливо улыбаясь. – Матвей, я не помешала вам? О! – она заметила Постышеву. – Что такое? Мы плачем? – она обняла Постышеву за плечи и прижала её голову к груди. – Матвей, это вы? Как не стыдно! Вероятно, вы были грубы. Иногда вы бываете невыносимы!

Директор пошевелил усами.

– Доброе утро, Джина, – сказал он. – Отпустите Постышеву, она наказана. Она тяжело оскорбила Канэко, и она украли энергию...

– Какой вздор! – воскликнула Джина. – Успокойся, девочка! Какие слова: «украли», «оскорбила», «энергия»! У кого она украли энергию? Ведь не у Детского же! Не всё ли равно, кто из физиков тратит энергию – Аля Постышева или этот ужасный Ламондуа!

Директор величественно поднялся.

– Леонид, Марк, – сказал он. – Это Джина Пикбридж, старший биолог Радуги. Джина, это Леонид Горбовский и Марк Валькенштейн, звездолётчики.

Звездолётчики встали.

– Хэлло, – сказала Джина. – Нет, я не хочу с вами знакомиться... Почему вы – двое здоровых, красивых мужчин – так равнодушны? Как вы можете сидеть и смотреть на плачущую девочку?

– Мы не равнодушны! – запротестовал Марк. Горбовский с изумлением посмотрел на него. – Мы как раз хотели вмешаться...

– Так вмешивайтесь же! Вмешивайтесь! – сказала Джина.

– Ну знаете, товарищи! – загремел директор. – Мне это совсем не нравится! Постышева, вы свободны. Идите, идите... В чём дело, Джина? Отпустите Постышеву и изложите ваше дело... Ну, вот видите, она вам всю кофту заревела. Постышева, идите, я вам сказал!

Постышева встала и, закрыв лицо ладонями, вышла. Марк вопросительно посмотрел на Джину.

– Ну, разумеется, – сказала она.

Марк одёрнул куртку, строго посмотрел на Матвея, поклонился Джине и тоже вышел. Матвей расслабленно махнул рукой.

– Отрекусь, – сказал он. – Никакой дисциплины. Вы понимаете, что вы делаете, Джина?

– Понимаю, – сказала Джина, подходя к столу. – Вся ваша физика и вся ваша энергия не стоят одной Алиной слезинки.

– Скажите это Ламондуа. Или Пагаве. Или Форстеру. Или, к примеру, Канэко. А что касается слезинок, то у каждого своё оружие. И хватит об этом, с вашего позволения! Я вас слушаю.

– Да, хватит, – сказала Джина. – Я знаю, что вы столь же упрямы, сколь и добры. А следовательно, упрямы бесконечно. Матвей, мне нужны люди. Нет-нет... – Она подняла маленькую ладонь. – Дело предстоит очень рискованное и интересное. Мне стоит только поманить пальцем, и половина физиков сбежит от своих зловещих руководителей.

– Если поманите вы, – сказал Матвей, – то сбегут и сами руководители...

– Благодарю вас, но я имею в виду охоту на кальмаров. Мне нужно двадцать человек, чтобы отогнать кальмаров от берега Пушкина.

Матвей вздохнул.

– Чем вам не понравились кальмары? – сказал он. – У меня нет людей.

– Хотя бы десять человек. Кальмары систематически грабят рыбозаводы. Чем у вас сейчас заняты испытатели?

Матвей оживился.

– Да, верно! – сказал он. – Габа! Где у меня сейчас Габа? Ага, помню... Всё в порядке, Джина, у вас будут десять человек.

– Вот и хорошо. Я знала, что вы добры. Я пойду завтракать, и пусть они меня найдут. До свиданья, милый Леонид. Если захотите принять участие, мы будем только рады.

– Уф!... – сказал Матвей, когда дверь закрылась. – Прелестная женщина, но работать я предпочитаю всё-таки с Ламондуа... Но каков твой Марк!

Горбовский самодовольно ухмыльнулся и налил себе ещё соку. Он снова блаженно вытянулся в кресле и, молвив тихонько: «Можно?» – включил проигрыватель. Директор тоже откинулся на спинку кресла.

– Да! – мечтательно произнёс он. – А помнишь, Леонид, – Слепое Пятно, Станислав Пишта кричит на весь эфир... Да, кстати! Ты знаешь...

– Матвей Сергеевич, – сказал голос из репродуктора. – Сообщение со «Стрелы».

– Читай, – сказал Матвей, наклоняясь вперёд.

– «Выхожу на деритринитацию. Следующая связь через сорок часов. Всё благополучно. Антон». Связь неважная, Матвей Сергеевич: магнитная буря...

– Спасибо, – сказал Матвей. Он озабоченно обернулся к Горбовскому. – Между прочим, Леонид, что ты знаешь о Камилле?

– Что он никогда не снимает шлема, – сказал Горбовский. – Я его однажды прямо об этом спросил, когда мы купались. И он мне прямо ответил.

– И что ты думаешь о нём?

Горбовский подумал.

– Я думаю, что это его право.

Горбовский не хотел говорить на эту тему. Некоторое время он слушал тамтам, затем сказал:

– Понимаешь, Матюша, как–то так получилось, что меня считают чуть ли не другом Камилла. И все меня спрашивают, что да как. А я этой темы не люблю. Если у тебя есть какие–нибудь конкретные вопросы, пожалуйста.

– Есть, – сказал Матвей. – Камилл не сумасшедший?

– Не–ет, ну что ты! Он просто обыкновенный гений.

– Ты понимаешь, я всё время думаю: ну что он всё предсказывает и предсказывает? Какая–то у него мания – предсказывать...

– И что же он предсказывает?

– Да так, пустяки, – сказал Матвей. – Конец света. Вся беда в том, что его, беднягу, никто–никто не может понять... Впрочем, не будем об этом. О чём это мы с тобой говорили?...

Экран снова осветился. Появился Канэко. Галстук у него съехал набок.

– Матвей Сергеевич, – сказал он, чуть задыхаясь. – Разрешите уточнить список. У вас должна быть копия.

– О, как мне всё это надоело! – сказал Матвей. – Леонид, прости меня, пожалуйста. Мне придётся уйти.

– Конечно, иди, – сказал Горбовский. – А я пока прогуляюсь обратно на космодром. Как там мой «Таризель»...

– К двум часам ко мне обедать, – сказал Матвей.

Горбовский допил стакан, поднялся и с удовольствием увеличил громкость тамтама до предела.

3

К десяти часам жара стала невыносимой. Из раскалённой степи в щели закрытых окон сочились терпкие пары летучих солей. Над степью плясали миражи. Роберт установил у своего кресла два мощных вентилятора и полулежал, обмахиваясь старым журналом. Он утешал себя мыслью о том, что часам к трём будет гораздо тяжелее, а там, глядишь, и вечер. Камилл застыл у северного окна. Они больше не разговаривали.

Из регистратора тянулась бесконечная голубая лента, покрытая зубчатыми линиями автоматической записи, счётчик Юнга медленно, незаметно для глаза наливался густым сиреневым светом, тоненько пищали ульмотроны – за их зеркальными окошечками зловеще играли отблески ядерного пламени. Волна развивалась. Где–то за северным горизонтом, над необозримыми пустырями мёртвой земли били в стратосферу исполинские фонтаны горячей ядовитой пыли...

Заверещал сигнал видеофона, и Роберт немедленно принял деловую позу. Он думал, что это Патрик или – что было бы страшно в такую жару – Маляев. Но это оказалась Таня, весёлая и свежая; и было сразу видно, что там у неё нет сорокаградусной жары, нет вонючих испарений мёртвой степи, воздух сладок и прохладен, а с близкого моря ветер приносит чистые запахи цветников, обнажившихся при отливе.

– Как ты там без меня, Робик? – спросила она.

– Плохо, – пожаловался Роберт. – Пахнет. Жарко. Потно. Тебя нет. Спать хочется невыносимо, и никак не заснуть.

– Бедный мальчик! А я славно вздремнула в вертолётe. У меня тоже будет трудный день. Летний праздник – всеобщее столпотворение, столоверчение и светопреставление. Ребята носятся как ошалелые. Ты один?

– Нет. Вон стоит Камилл и не видит нас и не слышит. Танек, я сегодня жду тебя. Только где?

– А ты разве сменяешься? Жалко. Полетим на юг!

– Давай. Помнишь кафе в Рыбачьем? Будем есть миноги, пить молодое вино... ледяное!

– Роберт застонал и закатил глаза. – Сейчас я буду ждать этого вечера. О, как я буду его ждать!

– Я тоже... – она оглянулась. – Целую, Роби, – сказала она. – Жди звонка.

– Очень буду ждать, – успел сказать Роберт.

Камилл всё смотрел в окно, сцепив руки за спиной. Пальцы его пребывали в непрерывном движении. У Камилла были необычайно длинные, белые, гибкие пальцы с коротко остриженными ногтями. Они причудливо сплетались и расплетались, и Роберт поймал себя на том, что пытается проделать то же самое с собственными пальцами.

– Началось, – сказал вдруг Камилл. – Советую посмотреть.

– Что началось? – спросил Роберт. Ему не хотелось подниматься.

– Пошла степь, – сказал Камилл.

Роберт неохотно встал и подошёл к нему. Сначала он ничего не заметил. Затем ему показалось, что он видит мираж. Но, взглядевшись, он так стремительно подался вперёд, что стукнулся лбом о стекло. Степь шевелилась. Степь быстро меняла цвет – жуткая красноватая каша ползла через жёлтое пространство. Внизу под вышкой можно было разглядеть, как копошатся среди высохших стеблей красные и рыжие точки.

– Мама моя!... – ахнул Роберт. – Красная зерноедка! Что же вы стоите?! – он метнулся к видеофону. – Пастухи! – крикнул он. – Дежурный!

– Дежурный слушает.

– Говорит пост Степной. С севера идёт зерноедка! Вся степь покрыта зерноедкой!

– Что? Повторите... Кто говорит?

– Говорит пост Степной, наблюдатель Склярв! Красная зерноедка идёт с севера! Хуже, чем в позапрошлом году! Поняли? Вся степь кишит зерноедкой!

– Есть... Ясно... Спасибо, Склярв... Вот беда! А у нас все на юге... Вот беда!... Ну ладно...

– Дежурный! – крикнул Роберт. – Слушайте, свяжитесь с Алебастровой или с Гринфилдом, там полно нулевиков, они помогут!

– Всё понял! Спасибо, Склярв. Когда зерноедка кончит идти, сообщите сразу, пожалуйста.

Роберт снова подскочил к окну. Зерноедка шла валом, травы уже не было видно.

– Вот несчастье! – бормотал Роберт, прижимаясь лицом к стеклу. – Вот уж действительно беда!

– Не обольщайтесь, Роби, – сказал Камилл. – Это ещё не беда. Это просто интересно.

– А вот выжрет она посевы, – сказал Роберт со злостью, – останемся без хлеба, без скота.

– Не останемся, Роби. Она не успеет.

– Надеюсь. На это только и надеюсь. Вы только посмотрите, как она идёт. Ведь вся степь красная.

– Катаклизм, – сказал Камилл.

Неожиданно наступили сумерки. Огромная тень упала на степь. Роберт оглянулся и перебежал к восточному окну. Широкая дрожащая туча закрыла солнце. И опять Роберт не сразу понял, что это. Сначала он просто удивился, потому что днём на Радуге никогда не бывает туч. Но потом он увидел, что это птицы. Тысячи тысячи птиц летели с севера, и даже сквозь закрытые окна слышались непрерывный шелестящий шум крыльев и пронзительные тонкие крики. Роберт попятился к столу.

– Откуда птицы? – проговорил он.
– Всё спасается, – сказал Камилл. – Всё бежит. На вашем месте, Роби, я бы тоже бежал.
Идёт Волна.

– Какая Волна? – Роберт нагнулся и посмотрел на приборы. – Нет же никакой Волны, Камилл...

– Нет? – сказал Камилл хладнокровно. – Тем лучше. Давайте останемся и посмотрим.

– Я и не собирался бежать. Меня просто удивляет всё это. Надо, пожалуй, сообщить в Гринфилд. И главное, откуда эти птицы? Там же пустыня.

– Там очень много птиц, – сказал спокойно Камилл. – Там огромные синие озёра, тростники... – Он замолчал.

Роберт недоверчиво посмотрел на него. Десять лет он работал на Радуге и всегда был убеждён, что к северу от горячей параллели нет ничего: ни воды, ни травы, ни жизни. Взять флаер и слетать туда с Танюшкой, мельком подумал он. Озёра, тростники...

Затрещал сигнал вызова, и Роберт повернулся к экрану. Это был сам Маляев.

– Скляр, – сказал он обычным неприязненным тоном, и Роберт по привычке почувствовал себя виноватым, виноватым за всё, в том числе за зерноедок и за птиц. – Скляр, слушайте приказ. Немедленно эвакуируйте пост. Заберите оба ульмотрона.

– Фёдор Анатольевич, – сказал Роберт. – Идёт зерноедка, летят птицы. Я только что хотел сообщить вам...

– Не отвлекайтесь. Я повторяю. Заберите оба ульмотрона, садитесь в вертолёт и немедленно в Гринфилд. Поняли меня?

– Да.

– Сейчас... – Маляев посмотрел куда-то вниз. – Сейчас десять сорок пять. В одиннадцать ноль-ноль вы должны быть в воздухе. Имейте в виду, я выдвигаю «харибды», и на всякий случай держитесь выше. Если не успеете демонтировать ульмотроны – бросьте их.

– А что случилось?

– Идёт Волна, – сказал Маляев и впервые посмотрел Роберту в глаза. – Она перешла Горячую параллель. Торопитесь.

Секунду Роберт стоял, собираясь с мыслями. Затем он снова осмотрел приборы. Судя по приборам, извержение шло на убыль.

– Ну, это не моё дело, – сказал Роберт вслух. – Камилл, вы мне поможете?

– Теперь я уже никому не могу помочь, – отозвался Камилл. – Впрочем, это не моё дело. Что нужно – тащить ульмотроны?

– Да. Только сначала их надо демонтировать.

– Хотите добрый совет? – сказал Камилл. – Добрый совет за номером семь тысяч восемьсот тридцать два.

Роберт уже отключил ток и, обжигая пальцы, скручивал разъёмы.

– Давайте ваш совет, – сказал он.

– Бросьте эти ульмотроны, садитесь в вертолёт и летите к Тане.

– Хороший совет, – сказал Роберт, торопливо обрывая соединения. – Приятный. Помогите – ка мне его вытащить...

Ульмотрон весил около центнера, толстый гладкий цилиндр в полтора метра длиной. Они извлекли его из гнезда и внесли в кабину лифта. Завыл ветер, вышка начала вибрировать.

– Достаточно, – сказал Камилл. – Спустимся вместе.

– Надо взять второй.

– Роби, вам даже этот больше не понадобится. Послушайте моего совета.

Роберт посмотрел на часы.

– Время есть, – деловито сказал он. – Спускайтесь и выкатывайте его на землю.

Камилл закрыл дверцу. Роберт вернулся к установке. Снаружи стоял красный сумрак. Птиц больше не было, но небо затягивала мутная пелена, сквозь которую еле просвечивал маленький диск солнца. Вышка вздрагивала и раскачивалась под порывами ветра.

– Успеть бы! – вслух подумал Роберт.

Он, напрягаясь, вытянул второй ульмотрон, поднял на плечо и понёс к лифту. Тут за его спиной с раздирающим хрустом вылетели оконные рамы, и в лабораторию ворвались облака колючей пыли пополам с раскалённым ветром. Что-то с силой ударило по ногам. Роберт поспешно присел, прислонил ульмотрон к стене и нажал кнопку вызова. Двигатель подъёмника взвыл вхолостую и сейчас же умолк.

– Ками-илл! – крикнул Роберт, прижавшись лицом к решётчатой двери.

Никто не отозвался. Ветер выл и свистел в разбитых окнах, вышка раскачивалась, и Роберт едва держался на ногах. Он снова нажал кнопку. Подъёмник не действовал. Тогда, преодолевая ветер, он подобрался к окну и выглянул наружу. Степь была затянута клубами бешено несущейся пыли. Что-то блестящее мелькало внизу у подножья вышки, и Роберт похолодел, сообразив, что это бьётся и мотается под ветром вывернутое и растерзанное крыло птерокара. Роберт закрыл глаза и облизал пересохшие губы. Рот наполнился едкой горечью. Хороша ловушка, подумал он. Патрика бы сюда...

– Ками-и-илл! – крикнул он изо всех сил.

Но он еле слышал собственный голос. Через окно... Нельзя, сорвёт ураганом. Стоит ли вообще барахтаться? Птерокар-то разбит... Тут она меня и накроет. Нет, надо слезть. Что там Камилл возится – я бы на его месте уже починил лифт... Лифт!

Перешагивая через обломки, он вернулся к решётчатой двери и вцепился в неё обеими руками. А ну-ка, «Юность Мира», подумал он. Дверь была сделана добротно. Если бы фермы вышки были сделаны так же, лифт нипочём не вышел бы из строя. Роберт лёг спиной на дверь и согнутыми ногами упёрся в стену тамбура. Ну-ка... Р-раз! В глазах у него потемнело. Что-то хрустело: не то дверь, не то мускулы. Ещё р-раз! Дверь подалась. Сейчас она вылетит, подумал Роберт, и я свалюсь в шахту. Двадцать метров вниз головой, и сверху на меня упадёт ульмотрон. Он перевернулся и упёрся спиной в стену, а ногами в дверь. Тр-рах!... У двери вылетела нижняя половина, и Роберт упал на спину, ударившись головой. Несколько секунд он лежал неподвижно. Он был весь мокрый от пота. Потом он заглянул в пролом. Далеко внизу виднелась крыша кабины. Лезть было очень страшно, но в это время вышка начала крениться, и Роберта потащило вниз. Он не сопротивлялся, потому что вышка всё кренилась и кренилась, и не было этому конца.

Он спускался, цепляясь за фермы и распорки, и тугой, колючий от пыли ветер прижимал его к тёплому металлу. Он успел заметить, что пыли стало гораздо меньше и что степь снова залита солнцем. Вышка всё кренилась. Он так торопился узнать, что с птерокаром и куда девался Камилл, что выпрыгнул из шахты, когда до земли оставалось ещё метра четыре. Он больно стукнулся ногами и потом руками. И первое, что он увидел, были пальцы Камилла, вонзившиеся в сухую землю.

Камилл лежал под опрокинутым птерокаром, широко раскрыв круглые стеклянные глаза, и тонкие длинные пальцы его вцепились в землю, словно он пытался вытащить себя из-под разбитой машины, а может быть, ему было очень больно перед смертью. Пыль покрывала его белую куртку, пыль лежала на щеках и открытых глазах.

– Камилл, – позвал Роберт.

Ветер бешено мотал над его головой обломок исковерканного крыла. Ветер нёс струи жёлтой пыли. Ветер свистел и визжал в фермах покосившейся вышки. В мутноватом небе свирепо пылало маленькое солнце. Оно казалось косматым.

Роберт поднялся на ноги и, навалившись, попытался сдвинуть птерокар. На секунду ему удалось приподнять тяжёлую машину, но только на секунду. Он снова взглянул на Камилла. Всё лицо его было засыпано пылью, и белая куртка стала рыжей, и только к нелепой белой каске не пристало ни единой пылинки, и матовая пластмасса весело отсвечивала под солнцем.

У Роберта задрожали ноги, и он сел рядом с мёртвым. Ему хотелось плакать. Прощайте, Камилл. Честное слово, я вас любил. Никто вас не любил, а я любил. Правда, я никогда не слушал вас, так же, как и другие, но, честное слово, я не слушал только потому,

что не надеялся вас понять. Вы были на голову выше всех, а уж меня и подавно. А теперь я не могу столкнуться с вашей раздавленной груди эту кучу лома. По долгу дружбы мне следовало бы остаться рядом с вами. Но меня ждёт Таня, меня, может быть, ждёт даже Маляев, и потом я ужасно хочу жить. Тут не помогают никакие чувства и никакая логика. Я знаю, что мне не уйти. И всё-таки я пойду. Я буду бежать, буду брести, может быть, даже ползти, но я буду уходить до последнего... Я дурак, мне нужно было послушаться вашего семитысячного совета, но я, как всегда, не понял вас, хотя, казалось бы, чего тут было понимать?...

Он был таким разбитым и усталым, что только с большим трудом заставил себя подняться и пойти. А когда он обернулся, чтобы последний раз поглядеть на Камилла, он увидел Волну.

Далеко-далеко над северным горизонтом за красноватой дымкой оседающей пыли сверкала в белёсом небе ослепительная полоса, яркая, как солнце.

Ну, вот и всё, вяло подумал Роберт. Далеко мне не уйти. Через полчаса она будет здесь и пойдёт дальше, а здесь останется гладкая чёрная пустыня. Башня, конечно, останется, и ничего не случится с ульмотронами, и птерокар останется, и оторванное крыло повиснет в горячем безветрии. И, может быть, от Камилла останется шлем. А уж от меня вообще ничего не останется. Он, словно прощаясь, осмотрел себя – похлопал по голой груди, пощупал бицепсы. Жалко, подумал он. И тут он заметил флаер.

Флаер стоял за вышкой – маленький двухместный флаер, похожий на пёструю черепашку, скоростной, экономичный, удивительно простой и удобный в управлении. Это был флаер Камилла. Конечно же, это был флаер Камилла!

Роберт сделал к нему несколько неуверенных шагов, а потом сломя голову помчался, огибая вышку. Он не спускал глаз с флаера, словно боясь, что он вдруг исчезнет, споткнулся обо что-то и плашмя проехал по колючей траве, ободрав грудь и живот. Вскочив на ноги, он обернулся. Тяжёлый цилиндр ульмотрона с гладкими, досиня полированными боками ещё тихонько покачивался от толчка. Роберт взглянул на север. Из-за горизонта уже поднималась чёрная стена. Роберт подбежал к флаеру, подняв тучу пыли, прыгнул в сиденье и, едва нащупав рукоятку управления, с места дал полный газ.

* * *

Степная зона тянулась до самого Гринфилда, и Роберт проскочил её со средней скоростью пятьсот километров в час. Флаер нёсся над степью, как блоха, – огромными прыжками. Слепящая полоса скоро вновь скрылась за горизонтом. В степи всё казалось обычным: и сухая щетинистая трава, и дрожащие марева над солончаками, и редкие полосы карликового кустарника. Солнце палило беспощадно. И почему-то нигде не было никаких следов ни зерноедки, ни птиц, ни урагана. Наверное, ураган разметал всю эту живность и сам затерялся в этих бесплодных, извечно пустынных просторах Северной Радуги, самой природой предназначенных для сумасшедших экспериментов нуль-физиков. Однажды, когда Роберт был ещё новичком, когда Столицу называли ещё просто станцией, а Гринфилда не было вообще, Волна уже проходила в этих местах, вызванная грандиозным опытом покойного Лю Фын-чена, тогда всё здесь было черно, но прошло всего семь лет, и цепкая неприхотливая трава вновь оттеснила пустыню далеко на север, к самым районам извержений.

Всё вернётся, думал Роберт. Всё будет по-прежнему, только Камилла больше не будет. И если когда-нибудь кто-нибудь внезапно возникнет в кресле за моей спиной, я уже буду точно знать, что это всего-навсего привидение. А сейчас я приду к Маляеву и скажу ему прямо в лицо: «Ульмотроны ваши я бросил». А он процедит сквозь зубы: «Как вы смели, Склярков?...» И тогда я ему скажу: «Наплевать мне на ульмотроны, потому что погиб Камилл из-за ваших ульмотронов!» А он скажет: «Это, конечно, очень жаль, но ульмотроны нужно было привезти». И тогда я, наконец, рассвирепею и скажу ему всё. «Сосулька ты! – скажу я.

– Снежная ты баба с электронным управлением. Как ты смеешь думать об ульмотронах, когда погиб Камилл?... Равнодушный ты человек, ящерица!»

В двухстах километрах от Гринфилда он увидел «харибды» – гигантские телемеханические танки, несущие отверстия пасти энергопоглотителей. «Харибды» шли цепью от горизонта до горизонта, соблюдая правильные полукилометровые интервалы, с лязгом и громовым грохотом тысячесильных двигателей. За ними в жёлтой степи оставались широкие полосы развороченной коричневой земли, вспаханной до самого базальтового основания континента. Траки гусениц вспыхивали под солнцем. А далеко справа в тусклом небе моталась едва заметная точка – это был вертолёт–наводчик, руководивший движением этих металлических чудовищ. «Харибды» шли на Волну.

Энергопоглотители, по–видимому, ещё не работали, но Роберт на всякий случай круто набрал высоту и начал снижение, только когда навстречу ему из дымки вынырнул Гринфилд – несколько белых домиков и квадратная башня дальнего контроля, окружённые пышной земной зеленью. На северной окраине, подмяв под себя рожицу пальм, угрюмо чернела неподвижная «харибда», устремив прямо на Роберта бездонный раструб поглотителя, и ещё две «харибды» стояли справа и слева от посёлка. Два вертолёта взмыли над башней и ушли на юг. На площади среди зелёных газонов блестели на солнце перепончатые крылья птерокаров. Вокруг птерокаров бегали и копошились люди.

Роберт подошёл к самому входу в башню и выскочил на крыльцо. Кто–то отшатнулся, женский голос вскрикнул: «Кто это?» Роберт взялся за ручку стеклянной двери и на мгновение застыл, вглядываясь в своё отражение, – почти голый, весь в спёкшейся пыли, глаза злые, через грудь и живот идёт широкая чёрная царапина... Ладно, подумал он и рванул дверь. «Да ведь это Роберт!» – крикнули сзади. Он медленно поднялся по лестнице и наткнулся на Патрика. Патрик смотрел на него, открыв рот. «Патрик, – сказал Роберт. – Патрик, дружище, Камилл погиб...» Патрик замигал и вдруг зажал себе рот ладонью. Роберт прошёл дальше. Дверь в диспетчерскую была открыта. Там были Маляев, глава северных нулевиков Шота Петрович Пагава, Карл Гофман и ещё какие–то люди – кажется, биологи. Роберт остановился в дверях, держась за косяк. За спиной топали по ступенькам, и кто–то крикнул: «Откуда он знает?»

– Камилл... – сказал Роберт сипло и закашлялся.

Все с недоумением смотрели на него.

– В чём дело? – резко спросил Маляев. – Что с вами, Скляр, почему вы в таком виде?

Роберт подошёл к столу и, уперев грязные кулаки в какие–то бумаги, сказал ему в лицо:

– Камилл погиб. Его раздавило.

Стало очень тихо. Глаза Маляева сузились.

– Как раздавило? Где?...

– Его раздавило птерокаром, – сказал Роберт. – Из–за ваших драгоценных ульмотронов. Он мог спокойно спастись, но он помогал мне таскать ваши драгоценные ульмотроны, и его раздавило. А ваши ульмотроны я бросил там. Подберёте их, когда пройдёт Волна. Понимаете? Бросил. Они там сейчас валяются.

Ему сунули стакан воды. Он взял стакан и жадно выпил. Маляев молчал. Его бледное лицо стало совсем белым. Карл Гофман бесцельно перебирал какие–то схемы и не поднимал глаз. Пагава поднялся и стоял с опущенной головой.

– Очень тяжело... – сказал, наконец, Маляев. – Это был большой человек. – Он потёр лоб. – Очень большой человек. – Он снова поглядел на Роберта. – Вы очень устали, Скляр...

– Я не устал.

– Приведите себя в порядок и отдохните.

– И это всё? – горько спросил Роберт.

Лицо Маляева стало прежним – равнодушным и жёстким.

– Я задержу вас ещё на одну минуту. Вы видели Волну?

– Видел. Волну я тоже видел.

– Какого типа Волна?

В мозгу Роберта что-то сдвинулось, и всё встало на привычные места. Был властный и умный руководитель Маляев, и был его вечный лаборант-наблюдатель Роберт Складов, он же «Юность Мира».

– Кажется, третьего, – покорно сказал он. – Лю-волна.

Пагава поднял голову.

– Хорош-шо! – неожиданно бодро сказал он. И сейчас же скис, облокотился на стол и вяло сел. – Ай, Камилл, ай, Камилл, – забормотал он.

– Ай, бедняга!... – Он схватил себя за большие, оттопыренные уши и принялся мотать головой над бумагами.

Один из биологов, опасливо косясь на Роберта, тронул Маляева за локоть.

– Виноват, – сказал он робко. – А чем это хорошо – Лю-волна?

Маляев перестал, наконец, сверлить Роберта жёстким взглядом.

– Это значит, – сказал он, – что погибнет только северная полоса посевов. Но мы ещё не уверены, что это Лю-волна. Наблюдатель мог ошибиться.

– Ну как же так? – заныл биолог. – Договаривались же... У вас есть эти... «харибды»... Неужели нельзя остановить? Какие же вы физики?

Карл Гофман сказал:

– Возможно, удастся погасить инерцию Волны на линии дискретного перепада.

– Что значит «возможно»? – воскликнула незнакомая женщина, стоявшая рядом с биологом. – Вы понимаете, что это безобразие? Где ваши гарантии? Где ваши прекрасные разговоры? Вы понимаете, что вы оставляете планету без хлеба и мяса?

– Я не принимаю таких претензий, – холодно сказал Маляев. – Я вам глубоко сочувствую, но ваши претензии должны быть адресованы Этьену Ламондуа. Мы не ставим ноль-экспериментов. Мы изучаем Волну...

Роберт повернулся и медленно пошёл к двери. И нет им никакого дела до Камилла, думал он. Волна, посевы, мясо... За что они его так не любили? Потому что он был умнее их всех, вместе взятых? Или они вообще никого не любят? В дверях стояли ребята, знакомые лица, встревоженные, печальные, озабоченные. Кто-то взял его под локоть. Он поглядел сверху вниз и встретился взглядом с маленькими грустными глазами Патрика.

– Пойдём, Роб, я помогу тебе отмыться...

– Патрик, – сказал Роберт и положил руку ему на плечо. – Патрик, уходи отсюда. Брось их, если хочешь остаться человеком...

Лицо Патрика страдальчески искривилось.

– Ну что ты, Роб, – пробормотал он. – Не надо. Это пройдёт.

– Пройдёт, – повторил Роберт. – Всё пройдёт. Волна пройдёт. Жизнь пройдёт. И всё забудется. Не всё ли равно, когда забудется? Сразу или потом...

За спиной уже совершенно откровенно ругались биологи. Маляев требовал: «Сводку!» Шота кричал: «Не прекращать замеры ни на секунду! Используйте всю автоматику! Прах с ней, потом бросите!»

– Пойдём, Роб, – попросил Патрик.

И в этот момент, перекрывая говор и крики, в диспетчерской загремел знакомый монотонный голос:

– Прошу внимания!

Роберт стремительно обернулся. У него ослабели колени. На большом экране диспетчерского видеофона он увидел уродливую матовую каску и круглые немигающие глаза Камилла.

– У меня мало времени, – говорил Камилл. Это был настоящий, живой Камилл – у него тряслась голова, шевелились тонкие губы и двигался в такт словам кончик длинного носа. – Я не могу связаться с директором. Немедленно вызывайте «Стрелу». Немедленно эвакуируйте весь север. Немедленно! – Он повернул голову и посмотрел куда-то вбок, и

стала видна его щека, испачканная пылью. – За Лю–волной идёт Волна нового типа. Вам её...

Экран ослепительно вспыхнул, что–то треснуло, и экран померк. В диспетчерской стояла гробовая тишина, и вдруг Роберт увидел страшные, прищуренные на него глаза Маляева.

4

На Радуге был только один космодром, и на этом космодроме стоял только один звездолёт, десантный сигма–Д–звездолёт «Гаризель–Второй». Он был виден издалека – бело–голубой купол высотой в семьдесят метров сияющим облачком возвышался над плоскими тёмно–зелёными крышами заправочных станций. Горбовский сделал над ним два неуверенных круга. Сесть рядом со звездолётом было трудно: плотное кольцо разнообразных машин окружало корабль. Сверху были видны неуклюжие роботы–заправщики, присосавшиеся к шести баковым выступам, хлопотливые аварийные киберы, прощупывавшие каждый сантиметр обшивки, серый робот–матка, руководивший дюжиной маленьких юрких машин–анализаторов. Зрелище это было привычное, радующее хозяйственный глаз.

Однако возле грузового люка имело место явное нарушение всех установлений. Оттеснив в сторону безответных космодромных киберов, там сгрудилось множество транспортных машин всевозможных типов. Там были обычные грузовые «биндюги», туристские «дилижансы», легковые «тестудо» и «гепарды» и даже один «крот» – громоздкая землеройная машина для рудных разработок. Все они совершали какие–то сложные эволюции возле люка, теснясь и подталкивая друг друга. В стороне, на самом солнцепёке стояли несколько вертолётов и валялись пустые ящики, в которых Горбовский без труда узнал упаковку ульмотронов. На ящиках грустно сидели какие–то люди.

В поисках места для посадки Горбовский начал третий круг и тут обнаружил, что за его флаером по пятам следует тяжёлый птерокар, водитель которого, высунувшись по пояс из раскрытой дверцы, делает ему какие–то непонятные знаки. Горбовский посадил флаер между вертолётами и ящиками, и птерокар тотчас же очень неловко рухнул рядом.

– Я за вами, – деловито крикнул водитель птерокара, выскакивая из кабины.

– Не советую, – мягко сказал Горбовский. – Мне нет никакого дела до очереди. Я капитан этого звездолёта.

На лице водителя изобразилось восхищение.

– Великолепно! – вполголоса воскликнул он, осторожно озираясь по сторонам. – Сейчас мы утрём нос нулевикам. Как зовут капитана этого корабля?

– Горбовский, – сказал Горбовский, слегка кланяясь.

– А штурмана?

– Валькенштейн.

– Превосходно, – деловито сказал водитель птерокара. – Итак, вы – Горбовский, а я – Валькенштейн. Пошли!

Он взял Горбовского под локоть. Горбовский упёрся.

– Слушайте, Горбовский, мы ничем не рискуем. Эти корабли мне отлично знакомы. Я сам летел сюда на десаннике. Мы проберёмся в склад, возьмём по ульмотрону и закрёмся в кают–компании. Когда всё это кончится, – он небрежным жестом указал на машины, – мы спокойно выйдем.

– А вдруг придёт настоящий штурман?

– Настоящему штурману придётся долго доказывать, что он настоящий, – веско возразил самозванный штурман.

Горбовский хихикнул и сказал:

– Пошли.

Лжештурман пригладил волосы, сделал глубокий вдох и решительно двинулся вперёд.

Они стали протискиваться между машинами. Лжештурман говорил непрерывно – у него вдруг прорезался глубокий, внушительный бас.

– Я полагаю, – во всеуслышание вещал он, – что прочистка диффузоров только задержит нас. Предлагаю просто сменить половину комплектов, а основное внимание уделить осмотру обшивки. Товарищ, продвиньте немного вашу машину! Вы мешаете... Так вот, Валентин Петрович, при выходе на деритринитацию... Подайте ваш грузовик назад, товарищ. Не понимаю, зачем вы толпитесь? Существует очередь, существует список, закон, наконец... Вышлите представителей... Валентин Петрович, не знаю как вас, а меня поражает дикость аборигенов. Такого мы с вами не видели даже на Пандоре среди тахоргов...

– Вы совершенно правы, Марк, – сказал Горбовский, развлекаясь.

– Что? Ну да, само собой... Ужасные нравы!

Девушка в шёлковой косынке, высунувшись из кабины «биндюга», осведомилась:

– Штурман и капитан, если не ошибаюсь?

– Да! – с вызовом сказал штурман. – И, как штурман, я рекомендовал бы вам ещё раз прочитать инструкцию о порядке разгрузки.

– Вы думаете, это необходимо?

– Несомненно. Вы совершенно напрасно ввели ваш грузовик в двадцатиметровую зону...

– А знаете, друзья, – раздался весёлый молодой голос, – у этого штурмана фантазия победнее, чем у первых двух.

– Что вы хотите этим сказать? – оскорблённо спросил лжештурман. В лице его было что-то от лже-Нерона.

– Понимаете, – проникновенно сказала девушка в косынке. – Вон там, на пустых ящиках, уже сидят два штурмана и один капитан. А пустые ящики – это упаковка ульмотронов, которые увёз бортинженер – скромная такая молодая женщина. За нею сейчас гонится уполномоченный Совета...

– Как вам это нравится, Валентин Петрович? – вскричал лжештурман. – Самозванцы, а?

– У меня такое ощущение, – задумчиво сказал Горбовский, – что мне не попасть на собственный корабль.

– Верное рассуждение, – сказала девушка в косынке. – И уже не новое.

Штурман решительно было двинулся вперёд, но тут «биндюг» справа немного передвинулся влево, чёрно-жёлтый «дилижанс» слева чуть-чуть подался вправо, а прямо на пути к заветному люку вдруг злобно заворочались, отбрасывая комья земли, оскаленные зубья «крота».

– Валентин Петрович! – с негодованием воскликнул лжештурман. – В таких условиях я не гарантирую готовности звездолёта!

– Старо! – грустно сказал водитель «дилижанса».

Звонкий весёлый голос проговорил:

– Какой это штурман! Скука зевотная. Вот помните второго штурмана – этот действительно развлёк! Как он задирает на себе майку и показывал следы метеоритных ударов!

– Нет, первый был лучше, – сказал, обернувшись, водитель «крота».

– Да, он был хорош, – согласилась девушка в косынке. – Как это он шёл среди машин, держа перед глазами фотографию, и жалобно так приговаривал: «Галю моя, Галю! Галю дорогая! Далек ты, Галю, от ридного краю!»

Лжештурман, подавленно опустив голову, сковыривал комья земли с блестящих зубьев «крота».

– Ну, а вы что скажете? – обратился водитель «дилижанса» к Горбовскому. – Что же вы всё молчите? Надо что-нибудь говорить... Что-нибудь убедительное.

Все с любопытством ждали.

– Вообще я мог бы войти через пассажирский люк, – задумчиво сказал Горбовский.

Лжештурман с надеждой вскинул голову и посмотрел на него.

– Не могли бы, – покачал головой водитель. – Он заперт изнутри.

В наступившей паузе был отчётливо слышен голос Канэко:

– Не могу я вам дать десять комплектов, поймите, товарищ Прозоровский!

– А вы поймите меня, товарищ Канэко! У нас заявка на десять комплектов. Как я вернусь с шестью?

Кто-то вмешался:

– Берите, Прозоровский, берите... Берите пока шесть. У нас четыре комплекта освободятся через неделю, и я вам пришлю.

– Вы обещаете?

Девушка в косынке сказала:

– Прозоровского просто жалко. У них шестнадцать схем на ульмотронах!

– Да, нищета, – вздохнул водитель «дилижанса».

– А у нас пять, – горестно сказал лжештурман. – Пять схем и всего один ульмотрон. Что, казалось бы, им стоило привезти штук двести.

– Мы могли бы привести и двести и триста, – сказал Горбовский. – Но ульмотроны нужны сейчас всем. На Земле заложили шесть новых У-конвейеров...

– У-конвейер! – сказала девушка в косынке. – Легко сказать!... Вы представляете себе технологию ульмотрона?

– В самых общих чертах.

– Шестьдесят килограммов ультрамикрорезонансов... Ручное управление сборкой, полумикронные допуски... А какой уважающий себя человек пойдёт в сборщики? Вот вы бы пошли?

– Набирают добровольцев, – сказал Горбовский.

– А!... – с отвращением сказал водитель «крота». – Неделя помощи физикам!...

– Ну что ж, Валентин Петрович, – сказал лжештурман, стыдливо улыбаясь. – Так нас, по-видимому, и не пустят...

– Меня зовут Леонид Андреевич, – сказал Горбовский.

– А меня Ганс, – уныло признался лжештурман. – Пошли посидим на ящиках. Вдруг что-нибудь случится...

Девушка в косынке помахала им рукой. Они выбрались из толпы машин и присели на ящиках рядом с другими лжезвездолетчиками. Их встретили сочувственно-насмешливым молчанием.

Горбовский ощупал ящик. Пластмасса была грубая и жёсткая. На солнцепёке было жарко. Делать Горбовскому здесь было совершенно нечего, но, как всегда, ему страшно хотелось познакомиться с этими людьми, узнать, кто они и как дошли до жизни такой, и вообще как идут дела. Он составил вместе несколько ящиков, спросил: «Можно я лягу?», лёг, вытянувшись во всю длину, и с помощью струбцинки укрепил возле головы микрокондиционер. Потом он включил проигрыватель.

– Меня зовут Горбовский, – представился он. – Леонид. Я был капитаном этого звездолёта.

– Я тоже был капитаном этого звездолёта, – мрачно сообщил грузный темнолицый человек, сидевший справа. – Меня зовут Альпа.

– А меня зовут Банин, – заявил голый до пояса худощавый юноша в белой панаме. Я был и остаюсь штурманом. Во всяком случае, пока не получу ульмотрон.

– Ганс, – коротко сказал лже-Валькенштейн, усевшись на траву поближе к микрокондиционеру.

Третий лжештурман, видимо, не слышал их. Он сидел к ним спиной и что-то писал, положив блокнот на колени.

Из толпы выехал длинный «гепард». Дверца приоткрылась, оттуда вылетели пустые коробки из-под ульмотронов, и «гепард» умчался в степь.

– Прозоровский, – сказал Банин с завистью.

– Да, – сказал Альпа горько. – Прозоровскому не приходится врать. Правая рука

Ламондуа. – Он глубоко вздохнул. – Никогда не врал. Терпеть не могу врать. И теперь очень нехорошо на душе.

Банин сказал глубокомысленно:

– Если человек начинает врать помимо всякого желания, значит где-то что-то разладилось. Сложное последствие.

– Всё дело в системе, – сказал Ганс. – Всё дело в этой исходной установке: больше получает тот, у кого лучше выходит.

– А вы предложите другую установку, – сказал Горбовский. – Не получается у тебя ничего – на тебе ульмотрон. Получается – посиди на ящиках...

– Да, – сказал Альпа. – Какой-то страшный срыв. Кто когда-либо слышал об очередях за оборудованием? Или за энергией? Ты давал заявку, и тебя обеспечивали... Тебя никогда даже не интересовало, откуда это берётся. То есть интуитивно было ясно, что существует масса людей, с удовольствием работающих в сфере материального обеспечения науки. Между прочим, это действительно очень интересная работа. Помню, я сам после школы с большим увлечением занимался рационализацией сборки нейтринных схем. Сейчас о них уже не помнят, но когда-то это был очень популярный метод – нейтринный анализ. – Он достал из кармана почерневшую трубку и медленными уверенными движениями набил её. Все с любопытством следили за ним. – Хорошо известно, что относительная численность потребителей оборудования и производителей оборудования с тех пор существенно не изменилась. Но, видимо, произошёл какой-то чудовищный скачок в потребностях. Судя по всему – я просто смотрю вокруг, – среднему исследователю требуется сейчас раз в двадцать больше энергии и оборудования, чем в моё время. – Он глубоко затыкнулся, и трубка засипела и захрипела. – Такое положение объяснимо. Испокон веков считается, что наибольшего внимания заслуживает та проблема, которая даёт максимальный ливень новых идей. Это естественно, иначе нельзя. Но если первичная проблема лежит на субэлектронном уровне и требует, скажем, единицы оборудования, то каждая из десяти дочерних проблем опускается в материю по крайней мере на этаж глубже и требует уже десяти единиц. Ливень проблем, вызывает ливень потребностей. И я уже не говорю о том, что интересы производителей оборудования далеко не всегда совпадают с интересами потребителей.

– Заколдованный круг, – сказал Банин. – Прозевали наши экономисты.

– Экономисты тоже исследователи, – возразил Альпа. – Они тоже имеют дело с ливнями проблем. И раз уж мы заговорили об этом, то вот любопытный парадокс, который очень интересует меня последнее время. Возьмите нуль-Т. Молодая, плодотворная и очень перспективная проблема. Поскольку она плодотворная, Ламондуа по праву получает огромное материальное и энергетическое обеспечение. Чтобы сохранить за собой это материальное обеспечение, Ламондуа вынужден непрерывно гнать вперёд – быстрее, глубже и... уже. А чем быстрее и глубже он забирается, тем больше ему нужно и тем сильнее он ощущает нехватку, пока, наконец, не начинает тормозить сам себя. Взгляните на эту очередь. Сорок человек ждут и тратят драгоценное время. Треть всех исследователей Радуги тратит время, нервную энергию и темп мысли! А остальные две трети сидят сложа руки по лабораториям и могут думать сейчас только об одном: привезут или не привезут? Это ли не самоторможение? Стремление сохранить приток материальных ресурсов порождает гонку, гонка вызывает непропорциональный рост потребностей, и в результате возникает самоторможение.

Альпа замолчал и стал выколачивать трубку. Из толпы машин, расталкивая их направо и налево, выбрался «крот». В окне нелепо высокой кабины торчала крышка новенького ульмотрона. Проезжая мимо, водитель помахал лже-звездолётчикам.

– Хотел бы я знать, зачем Следопытам ульмотрон, – пробормотал Ганс.

Никто не ответил. Все провожали взглядом «крота», на задней стенке которого красовался опознавательный знак Следопытов – чёрный семиугольник на красном щитке.

– По-моему, всё-таки, – сказал Банин, – виноваты экономисты. Надо было предвидеть. Надо было двадцать лет назад повернуть школы так, чтобы сейчас хватало кадров для

обеспечения науки.

– Не знаю, не знаю, – сказал Альпа. – Возможно ли вообще планировать такой процесс? Мы мало знаем об этом, но ведь может оказаться, что установить равновесие между духовным потенциалом исследователей и материальными возможностями человечества вообще нельзя. Грубо говоря, идей всегда будет гораздо больше, чем ульмотронов.

– Ну, это ещё надо доказать, – сказал Банин.

– А я ведь не сказал, что это доказано. Я только предположил.

– Такое предположение порочно, – заявил Банин. Он начинал горячиться.

– Оно утверждает кризис на вечные времена! Это же тупик!...

– Почему же тупик? – тихонько сказал Горбовский. – Наоборот.

Банин не слушал.

– Надо выходить из кризиса! – говорил он. – Надо искать выходы! И выход уж, конечно, не в мрачных предположениях!

– А почему же в мрачных? – сказал Горбовский. На него опять не обратили внимания.

– Отказываться от основного принципа распределения нельзя, – говорил Банин. – Это будет просто нечестно по отношению к самым лучшим работникам. Вы будете двадцать лет жевать одну частную проблему, а энергии, скажем, получать столько же, сколько Ламондуа. Это же нелепо! Значит, выход не здесь? Не здесь. Вы сами-то видите выход? Или вы ограничиваетесь холодной регистрацией?

– Я старый научный работник и старый человек, – сказал Альпа. – Всю свою жизнь занимаюсь физикой. Правда, сделал я мало, я рядовой исследователь, но не в этом дело. Вопреки всем этим новым теориям я убеждён, что смысл человеческой жизни – это научное познание. И, право же, мне горько видеть, что миллиарды людей в наше время сторонятся науки, ищут своё призвание в сентиментальном общении с природой, которое они называют искусством, удовлетворяются скольжением по поверхности явлений, которое они называют эстетическим восприятием. А мне кажется, сама история предопределила разделение человечества на три группы: солдаты науки, воспитатели и врачи, которые, впрочем, тоже солдаты науки. Сейчас наука переживает период материальной недостаточности, а в то же время миллиарды людей рисуют картинки, рифмуют слова... Вообще создают *впечатления*. А ведь среди них много потенциально великолепных работников. Энергичных, остроумных, с невероятной трудоспособностью.

– Ну, ну! – сказал Банин.

Альпа промолчал и начал набивать трубку.

– Разрешите, я продолжу вашу мысль, – сказал Горбовский. – Я вижу, вы не решаетесь.

– Попробуйте, – сказал Альпа.

– Хорошо бы всех этих художников и поэтов согнать в учебные лагеря, отобрать у них кисти и гусиные перья, заставить пройти краткосрочные курсы и вынудить строить для солдат науки новые У-конвейеры, собирать тау-тракторы, лить эргохронные призмы...

– Вот чепуха! – разочарованно сказал Банин.

– Да, это чепуха, – согласился Альпа. – Но наши мысли не зависят от наших симпатий и антипатий. Мысль эта глубоко мне неприятна, она даже пугает меня, но она возникла... И не только у меня.

– Это бесплодная мысль, – лениво сказал Горбовский, глядя в небо. – Попытка разрешить противоречие между общим духовным и материальным потенциалом человечества в целом. Она ведёт к новому противоречию, старому и банальному, – между машинной логикой и системой морали и воспитания. В таком столкновении машинная логика всегда терпит поражение.

Альпа кивнул и окутался облаками дыма. Ганс задумчиво проговорил:

– Мысль страшненькая. Помните «проект десяти»? Когда Совету предложили перебросить в науку часть энергии из Фонда изобилия... Во имя чистой науки попрятать человечество в области элементарных потребностей. Помните этот лозунг: «Учёные готовы голодать»?

Банин подхватил:

– А Ямакава тогда встал и сказал: «А шесть миллиардов детей не готовы. Так же не готовы, как вы не готовы разрабатывать социальные проекты».

– Я тоже не люблю изуверов, – сказал Горбовский.

– Я вот недавно прочёл книгу Лоренца, – сказал Ганс. – «Люди и проблемы»... Читали?

– Читали, – сказал Горбовский.

Альпа отрицательно помотал головой.

– Хорошая книга, правда? И поразила меня там одна мысль. Правда, Лоренц на ней не останавливается, говорит об этом мимоходом.

– Ну, ну? – сказал Банин.

– Я, помню, целую ночь об этом думал. Не хватало аппаратуры, ждали, пока подвезут, – знаете, обычная нервотрёпка. И вот я пришёл к такому выводу. Лоренц упоминает о естественном отборе в науке. Какие факторы определяют главенство научных направлений сейчас, когда наука не влияет или почти не влияет больше на материальное благосостояние?

– Ну, ну? – сказал Банин.

– И вот я пришёл к такому выводу. Пройдёт некоторое время, и те научные исследования, которые оказались наиболее успешными, впитают в себя всё материальное обеспечение, непомерно углубятся, а остальные направления просто сами собой сойдут на нет. И вся наука будет состоять из двух–трёх направлений, в которых никто, кроме корифеев, разбираться не будет. Понимаете меня?

– А, чушь! – сказал Банин.

– Ну почему же чушь? – спросил Ганс обиженно. – Вот факты. В науке существуют сотни тысяч направлений. В каждом работают тысячи людей. Лично я знаю четыре группы исследователей, которые из–за систематических неудач бросали работу и вливались в другие, более успешные группы. Я сам дважды так поступал...

Альпа сказал:

– Шутки шутками, а возьмите того же Ламондуа. Вот он рвётся сломя голову к осуществлению нуль–Т. Нуль–Т, как и следовало ожидать, даёт массу новых ответвлений. Но Ламондуа вынужден обрубить почти все эти ответвления, он просто вынужден игнорировать их. Потому что у него нет никакой возможности тщательно проработать каждое ответвление на перспективность. Мало того, он вынужден сознательно игнорировать заведомо поразительные и интересные вещи. Так, например, случилось с Волной. Неожиданное, удивительное и, на мой взгляд, грозное явление. Но, преследуя свою цель, Ламондуа пошёл даже на раскол в своём лагере. Он поссорился с Аристотелем, он отказывается обеспечивать волновиков. Он идёт вглубь, вглубь, его проблема становится всё уже. Волна осталась у него далеко в тылу. Она для него только помеха, он слышать о ней не хочет. А она, между прочим, сжигает посева...

Над космодромом загремел громкоговоритель всеобщего оповещения:

– Внимание, Радуга! Говорит директор. Старшего бригады испытателей Габу вместе с бригадой прошу немедленно явиться ко мне.

– Счастливые люди, – сказал Ганс. – Никакие ультрофоны им не нужны.

– У них своих забот хватает, – сказал Банин. – Видел я однажды, как они тренируются, – нет уж, я лучше буду лжештурманом... А потом два года сидеть без своего дела и каждый день слышать: «Потерпите ещё чуть–чуть. Вот, может быть, завтра...»

– Я рад, что вы заговорили о том, что в тылу, – сказал Горбовский. – «Белые пятна» науки. Меня этот вопрос тоже занимает. По–моему, у нас в тылу нехорошо... Например, Массачусетская машина. – Альпа покивал. Горбовский обратился к нему. – Вы, конечно, должны помнить. Сейчас о ней вспоминают редко. Угар кибернетики прошёл.

– Ничего не могу вспомнить о Массачусетской машине, – сказал Банин. – Ну, ну?

– Знаете, это древнее опасение: машина стала умнее человека и подмяла его под себя... Полсотни лет назад в Массачусетсе запустили самое сложное кибернетическое устройство, когда–либо существовавшее. С каким–то там феноменальным быстродействием,

необозримой памятью и всё такое... И проработала эта машина ровно четыре минуты. Её выключили, зацементировали все входы и выходы, отвели от неё энергию, заминировали и обнесли колючей проволокой. Самой настоящей ржавой колючей проволокой – хотите верить, хотите нет.

– А в чём, собственно, дело? – спросил Банин.

– Она начала *вести себя*, – сказал Горбовский.

– Не понимаю.

– И я не понимаю, но её едва успели выключить.

– А кто-нибудь понимает?

– Я говорил с одним из её создателей. Он взял меня за плечо, посмотрел мне в глаза и произнёс только: «Леонид, это было страшно».

– Вот это здорово, – сказал Ганс.

– А, – сказал Банин. – Чушь. Это меня не интересует.

– А меня интересует, – сказал Горбовский. – Ведь её могут включить снова. Правда, она под запретом Совета, но почему бы не снять запрет?

Альпа проворчал:

– Каждому времени свои злые волшебники и привидения.

– Кстати, о злых волшебниках, – подхватил Горбовский. – Я немедленно вспоминаю о случае Чёртовой Дюжины.

У Ганса горели глаза.

– Казус Чёртовой Дюжины – как же! – сказал Банин. – Тринадцать фанатиков... Кстати, где они сейчас?

– Позвольте, позвольте, – сказал Альпа. Это те самые учёные, которые срашивали себя с машинами? Но ведь они же погибли.

– Говорят, да, – сказал Горбовский, – но ведь не в этом дело. Прецедент создан.

– А что, – сказал Банин. – Их называют фанатиками, но в них, по-моему, есть что-то притягательное. Избавиться от всех этих слабостей, страстей, всплеск эмоций... Гольный разум плюс неограниченные возможности совершенствования организма. Исследователь, которому не нужны приборы, который сам себе прибор и сам себе транспорт. И никаких очередей за ульмотронами... Я это себе прекрасно представляю. Человек-флаер, человек-реактор, человек-лаборатория. Неуязвимый, бессмертный...

– Прошу прощения, но это не человек, – проворчал Альпа. – Это Массачусетская машина.

– А как же они погибли, если они бессмертны? – спросил Ганс.

– Разрушили сами себя, – сказал Горбовский. – Видно, не сладко быть человеком-лабораторией.

Из-за машин появился багровый от напряжения человек с цилиндром ульмотрона на плече. Банин соскочил с ящика и подбежал помочь ему. Горбовский задумчиво наблюдал, как они грузят ульмотрон в вертолёт. Багровый человек жаловался:

– Мало того, что дают один вместо трёх. Мало того, что теряешь половину дня. Тебе ещё приходится доказывать, что ты имеешь право! Тебе не верят! Вы можете себе это представить – тебе не верят! Не верят!!!

Когда Банин вернулся, Альпа сказал:

– Всё это довольно фантастично. Если вас интересует тыл, обратите лучше пристальное внимание на Волну. Каждая неделя – очередная нуль-транспортровка. И каждая нуль-транспортровка вызывает Волну. Большое или маленькое извержение. А занимаются Волной дилетантски. Не получилось бы второй Массачусетской машины, только без выключателя. Камилл – вы знаете Камилла? – рассматривает её как явление планетарного масштаба, но его аргументы неудобопонятны. С ним очень трудно работать.

– Кстати, – сказал Ганс, – знаете точку зрения Камилла на будущее? Он считает, что нынешняя увлечённость наукой – это своего рода благодарность за изобилие, инерция тех времён, когда способность к логическому восприятию мира была единственной надеждой

человечества. Он говорил так: «Человечество накануне раскола. Эмоционалисты и логики – по-видимому, он имеет в виду людей искусства и людей науки – становятся чужими друг другу, перестают друг друга понимать и перестают друг в друге нуждаться. Человек рождается эмоционалистом или логиком. Это лежит в самой природе человека. И когда-нибудь человечество расколется на два общества, так же чуждые друг другу, как мы чужды леонидьянам...»

– А, – сказал Банин. – Ну что за чепуха. Какой там раскол? Куда денется средний человек? Пагава, может быть, и смотрит на новую картину Сурда как баран на новые ворота, а Сурд, возможно, не понимает, зачем на свете существует Пагава, тут ничего не скажешь – вот тебе логик, а вот эмоционалист. А кто я? Да, я научный работник. Да, три четверти моего времени и три четверти моих нервов принадлежат науке. Но без искусства я тоже не могу! Вот у кого-то здесь играет проигрыватель, и мне очень хорошо. Я бы обошёлся и без проигрывателя, но с ним мне гораздо лучше... Так вот, как же я, спрашивается, расколюсь?

– Я тоже так подумал, – сказал Ганс. – Но он говорил, что, во-первых, гений нашего времени – это средний человек будущего; а во-вторых, будто существует не один средний человек, а два – эмоционалист и логик. Во всяком случае, так я его понял.

– Я тобой восхищаюсь, – сказал Банин. – По-моему, когда слушаешь Камилла, понять нельзя ничего.

– А может быть, это был очередной парадокс Камилла? – сказал Горбовский задумчиво. – Он любит парадоксы. Впрочем, для парадокса это рассуждение, пожалуй, слишком прямолинейно.

– Ну, Леонид Андреевич, – сказал Ганс весело. – Вы всё-таки учитывайте, что это не Камилловы рассуждения, а мои. Я вчера загорал на пляже, вдруг на камне возник Камилл – знаете его манеру? – и начал рассуждать вслух, обращаясь преимущественно к морским волнам. А я лежал и слушал, а потом заснул.

Все засмеялись.

– Камилл упражняется, – сказал Горбовский. – Я примерно представляю, зачем ему понадобился этот раскол. Видимо, его занимает вопрос об эволюции человека, и он строит модели. Синтез логиков и эмоционалистов представляется ему, вероятно, как новый человек, который уже не будет человеком.

Альпа вздохнул и спрятал трубку.

– Проблемы, проблемы... – сказал он. – Противоречия, синтез, тыл, фронт... А вы заметили, кто здесь сидит? Вы, вы... он... я... Неудачники. Отверженные науки. Наука вон – получает ульмотроны.

Он хотел сказать ещё что-то, но тут громкоговоритель заревел снова:

– Внимание, Радуга! Говорит директор. Капитан звездолёта «Тариэль-Второй» Леонид Андреевич Горбовский. План-энергетик планеты товарищ Канэко. Прошу немедленно явиться ко мне.

Из машин сейчас же высунулись водители. На лицах их было написано неопишное удовольствие. Все они смотрели на лжезвездолетчиков. Банин, втянув голову в плечи, развёл руками. Ганс весело крикнул: «Это не меня, я штурман!» Альпа захрипел и закрыл лицо ладонью. Горбовский торопливо поднялся.

– Мне пора, – сказал он. – Очень не хочется уходить. Я так и не успел высказаться. Вот вкратце моя точка зрения. Не надо огорчаться и заламывать руки. Жизнь прекрасна. Между прочим, именно потому, что нет конца противоречиям и новым поворотам. А что касается неизбежных неприятностей, то я очень люблю Куприна, и у него есть один герой, человек вконец спившийся водкой и несчастный. Я помню наизусть, что он там говорит. – Он откашлялся. – «Если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и мои внутренности смешаются с песком и намотаются на колёса, и если в этот последний миг меня спросят: „Ну что, и теперь жизнь прекрасна?“ – Я скажу с благодарным восторгом: „Ах, как она прекрасна!“ – Горбовский смущённо улыбнулся и запихнул проигрыватель в карман. – Это было сказано три века назад, когда человечество ещё стояло на четвереньках. Давайте не

будем жаловаться!... А кондиционер я вам оставлю – здесь очень жарко.

5

Матвей был не один. На его столе, подложив под себя руки и болтая ногами, сидел маленький черноволосый человек, черноглазый, живой, похожий на школьника–выпускника. Это был Этьен Ламондуа, глава современной нуль–физики, «быстрый физик», как его называли коллеги.

– Можно? – спросил Горбовский.

– А вот и он, – сказал Матвей. – Вы знакомы?

Ламондуа стремительно соскочил со стола и, подойдя вплотную, крепко пожал Горбовскому руку, глядя на него снизу вверх.

– Рад вас видеть, капитан, – сказал он, мило улыбаясь. – Мы как раз говорили о вас.

Горбовский попятился и сел в кресло.

– А мы – о вас, – сказал он.

Этьен живо поклонился и вернулся на стол к директору.

– Итак, я продолжаю. «Харибды» стоят насмерть. Надо отдать Маляеву справедливость: он создал отличные машины. Любопытно, что северная Волна совершенно нового типа. Эти мальчишки уже успели назвать её. П–волна, каково? По имени Шота. Чёрт возьми, я вынужден признаться, что рву на себе волосы! Как я раньше не обращал внимание на это великолепное явление? Придётся извиниться перед Аристотелем. Он оказался прав. Он и Камилл. Я преклоняюсь перед Камиллом. Я преклонялся перед ним и раньше, но теперь я кажется понимаю, что он имел в виду. Кстати, вы знаете что Камилл погиб?

Матвей дёрнул головой.

– Опять?

– А, вы уже знаете! Странная история. Погиб и снова воскрес. Я слышал о таких вещах. На свете нет ничего нового. Между прочим, вы верите, что Склярлов мог бросить его на съедение Волне? Я – нет. Итак, северная Волна достигла пояса контрольных станций. Первая, Лю–волна, рассеяна, вторая, П–волна, теснит «харибд» со скоростью до двадцати километров в час. Так что северные посева, вероятно, всё–таки погибнут. Биологов пришлось выслать на вертолётках...

– Знаю, – сказал директор. – Жаловались.

– Что поделаешь! Они вели себя хотя и понятным образом, но тем не менее недостойно. На океане движение Волны приостановлено. Там наблюдается явление, за которое Лю отдал бы полжизни: деформация кольцевой Волны. Эта деформация удовлетворяет каппа–уравнению, а если Волна – это каппа–поле, то становится сразу ясно всё, над чем бился наш бедный Маляев: и Д–проницаемость, и телегенность фонтанов, и «вторичные призраки»... Чёрт возьми, за эти три часа мы узнали о Волне больше, чем за десять лет! Матвей, учтите: как только всё это кончится, нам понадобится У–регистратор, может быть, даже два. Считайте, что я дал заявку. Обычные вычислители не помогут. Только Лю–алгоритмы, только Лю–логика!

– Хорошо, хорошо, – сказал Матвей. – А что на юге?

– На юге – океан. За юг вы можете быть спокойны. Там Волна дошла до Берега Пушкина, сожгла Южный архипелаг и остановилась. У меня такое впечатление, что она не пойдёт дальше, и очень жаль, потому что наблюдатели удирали оттуда так поспешно, что бросили всю автоматику, и о южной Волне мы почти ничего не знаем. – Он с досадой щёлкнул пальцами. – Я понимаю, вас интересует совсем другое. Но что делать, Матвей! Давайте смотреть на вещи реалистически. Радуга – это планета физиков. Это наша лаборатория. Энергостанции погибли, и их не вернёшь. Когда закончится этот эксперимент, мы их отстроим заново, вместе. Нам ведь понадобится много энергии! А что касается рыбных промыслов, чёрт возьми... Нулевики морально готовы отказаться от ухи из кальмаров! Не сердитесь на нас, Матвей.

– Я не сержусь, – сказал директор с тяжёлым вздохом. – Но есть, однако, в вас что-то от ребёнка, Этьен. Вы как ребёнок, играючи ломаете всё, что так дорого взрослым. – Он снова вздохнул. – Постарайтесь сберечь хотя бы южные посеы. Очень мне не хочется терять автономию.

Ламондуа посмотрел на часы, кивнул и, не говоря ни слова, выскочил вон. Директор посмотрел на Горбовского.

– Как тебе это нравится, Леонид? – спросил он, невесело усмехаясь. – Да, дружище. Бедная Постышева! Она ангел по сравнению с этими вандалами. Когда я думаю, что ко всем моим болячкам прибавятся ещё хлопоты по восстановлению системы снабжения и ассенизации, у меня волосы встают дыбом. – Он подёргал себя за ус. – А с другой стороны, Ламондуа прав – Радуга действительно планета физиков. Но что скажет Канэко, что скажет Джина... – Он помотал головой и передёрнул плечами. – Да! Канэко! А где Канэко?

– Матвей, – сказал Горбовский, – а можно мне узнать, зачем ты меня вызывал?

Директор, повернувшись к нему спиной, возился с клавишами селектора.

– Тебе удобно? – спросил он.

– Да, – сказал Горбовский. Он уже лежал.

– Может, тебе пить хочется?

– Хочется.

– Возьми в холодильнике. Может, тебе есть хочется?

– Ещё нет, но скоро захочется.

– Вот тогда и поговорим. А пока не мешай мне работать.

Горбовский достал из холодильника соки и стакан, смешал себе коктейль и снова лёг в кресло, откинув спинку. Кресло было мягкое, прохладное, коктейль был ледяной и вкусный. Он лежал, прихлёбывая из стакана, с полузакрытыми от удовольствия глазами и слушал, как директор разговаривает с Канэко. Канэко сказал, что не может выбраться – его не пускают. Директор спросил: «Кто не пускает?» – «Здесь сорок человек, – ответил Канэко, – и каждый не пускает». – «Сейчас я пришлю к тебе Габу», – сказал директор. Канэко возразил, что здесь и так достаточно шумно. Тогда Матвей рассказал о Волне и напомнил извиняющимся тоном, что Канэко, помимо всего прочего, является начальником СИБ Радуги. Канэко сердито сказал, что он этого не помнит, и Горбовский ему посочувствовал.

Начальники Службы индивидуальной безопасности всегда вызывали у него чувство жалости и сострадания. На каждую освоенную, а иногда и не совсем ещё освоенную планету рано или поздно начинали прибывать аутсайдеры – туристы, отпускники (всей семьёй и с детьми), свободные художники, ищущие новых впечатлений, неудачники, ищущие одиночества или работы потруднее, разнообразные дилетанты, спортсмены-охотники и прочий люд, не числившийся ни в каких списках, никому на планете не известный, ни с кем не связанный и зачастую старательно уклонявшийся от каких-либо связей. Начальник СИБ был обязан лично знакомиться с каждым из аутсайдеров, инструктировать их и следить, чтобы каждый аутсайдер давал ежедневно о себе знать сигналом на регистрирующую машину. На зловещих планетах типа Яйлы или Пандоры, где новичка на каждом шагу подстерегали всевозможные опасности, команды СИБ спасли не одну человеческую жизнь. Но на плоской, как доска, Радуге, с её ровным климатом, убогим животным миром и ласковым, всегда тихим морем СИБ неизбежно должна была превратиться и, судя по всему, превратилась в пустую формальность. И вежливый, корректный Канэко, чувствуя двусмысленность своего положения, занимался, конечно, не инструктажём литераторов, приехавших поработать в одиночестве, и не прослеживанием замысловатых маршрутов влюблённых и молодожёнов, а своим планированием или каким-нибудь другим настоящим делом.

– Сколько сейчас на Радуге аутсайдеров? – спросил Матвей.

– Человек шестьдесят. Может быть, немного больше.

– Канэко, дружище, всех аутсайдеров надо немедленно разыскать и переправить в Столицу.

– Я не совсем понимаю, в чём смысл этого мероприятия, – вежливо сказал Канэко. – В угрожаемых районах аутсайдеры практически никогда не бывают. Там голая сухая степь, там дурно пахнет, очень жарко...

– Пожалуйста, не будем спорить, Канэко, – попросил Матвей. – Волна есть Волна. В такое время лучше, чтобы все незаинтересованные люди были под рукой. Сейчас сюда придёт Габа со своими бездельниками, и я пошлю его к тебе. Организуй там.

Горбовский, отложив соломинку, отхлебнул прямо из стакана. Камилл погиб, подумал он. А погибнув, воскрес. Со мной такие вещи тоже бывали. Видно, эта пресловутая Волна вызвала порядочную панику. Во время паники всегда кто-нибудь гибнет, а потом ты очень удивляешься, встретив его в кафе в миллионе километров от места гибели. Физиономия у него поцарапана, голос хриплый и бодрый, он слушает анекдоты и убирает шестую порцию маринованных креветок с сычуанской капустой.

– Матвей, – позвал он. – А где сейчас Камилл?

– Ах да, ты ещё не знаешь, – сказал директор. Он подошёл к столику и стал смешивать себе коктейль из гранатового сока и ананасного сиропа. – Со мной говорил Маляев из Гринфилда. Камилл каким-то образом оказался на передовом посту, задержался там и попал под Волну. Какая-то запутанная история. Этот Скляров – наблюдатель – примчался на Камилловом флаере, закатил истерику и заявил, что Камилл раздавлен, а через десять минут Камилл выходит на связь с Гринфилдом, по обыкновению пророчествует и снова исчезает. Ну разве можно после таких вот выходов принимать Камилла всерьёз?

– Да, Камилл большой оригинал. А кто такой Скляров?

– Наблюдатель у Маляева, я же тебе говорю. Очень старательный, милый парень, очень недалёкий... Предполагать, что он предал Камилла – это же нелепо. Вечно Маляеву приходят в голову какие-то дикие мысли...

– Не обижай Маляева, – сказал Горбовский. – Он просто логичен. Впрочем, не будем об этом. Будем лучше о Волне.

– Будем, – рассеянно сказал директор.

– Это очень опасно?

– Что?

– Волна. Она опасна?

Матвей засопел.

– В общем-то Волна смертельно опасна, – сказал он. – Беда в том, что физики никогда не знают заранее, как она будет себя вести. Она, например, может в любой момент рассеяться. – Он помолчал. – А может и не рассеяться.

– И укрыться от неё нельзя?

– Не слышал, чтобы кто-нибудь пробовал. Говорят, что это довольно страшное зрелище.

– Неужели ты не видел?

Усы Матвея грозно встопорщились.

– Ты мог бы заметить, – сказал он, – что у меня мало времени мотаться по планете. Я всё время кого-нибудь жду, кого-нибудь умиротворяю, или кто-нибудь меня ждёт... Уверю тебя, если бы у меня было свободное время...

Горбовский осторожно осведомился:

– Матвей, я, наверное, понадобился тебе, чтобы искать аутсайдеров, не так ли?

Директор сердито взглянул на него.

– Захотел есть?

– Н-нет.

Матвей прошёлся по кабинету.

– Я скажу тебе, что меня расстраивает. Во-первых, Камилл предсказывал, что этот эксперимент окончится неблагополучно. Они не обратили на это никакого внимания. Я, следовательно, тоже. А теперь Ламондуа признает, что Камилл был прав...

Дверь распахнулась, и в кабинет, блестя великолепными зубами, ввалился молодой

громадный негр в коротких белых штанах, в белой куртке и в белых туфлях на босу ногу.

– Я прибыл! – объявил он, взмахнув огромными руками. – Что ты хочешь, о господин мой директор? Хочешь, я разрушу город или построю дворец? Хотел я, угадав твои желания, прихватить для тебя красивейшую из женщин, по имени Джина Пикбридж, но чары её оказались сильнее, и она осталась в Рыбачьем, откуда и шлёт тебе нелестные приветы.

– Я абсолютно ни при чём, – сказал директор. – Пусть шлёт свои приветы Ламондуа.

– Воистину, пусть! – воскликнул негр.

– Габа, – сказал директор, ты знаешь о Волне?

– Разве это Волна? – презрительно сказал негр. – Вот когда в стартовую камеру войду я, и Ламондуа нажмёт пусковой рычаг, вот тогда будет настоящая Волна! А это вздор, зыбь, рябь! Но я слушаю тебя и готов повиноваться.

– Ты с бригадой? – спросил директор терпеливо. Габа молча показал на окно. – Ступай с ними на космодром, ты поступаешь в распоряжение Канэко.

– На голове и на глазах, – сказал Габа. В тот же момент здоровенные глотки за окном грянули под банджо на мотив псалма «У стен Иерихонских»:

На весёлой Радуге,
Радуге,
Радуге...

Габа в один шаг очутился у окна и гаркнул:

– Ти-хо!

Песня смолкла. Тонкий чистый голос жалобно протянул:

Dig my grave both long and narrow,
Make my coffin neat and strong!...²

– Я иду, – с некоторым смущением сказал Габа и мощным прыжком перемахнул через подоконник.

– Дети... – проворчал директор, ухмыляясь. Он опустил раму. – Застоялись младенцы. Не знаю, что я буду делать без них.

Он остался стоять у окна, и Горбовский, прикрыв глаза, смотрел ему в спину. Спина была широченная, но почему-то такая сгорбленная и несчастная, что Горбовский забеспокоился. У Матвея, звездолётчика и десантника, просто не могло быть такой спины.

– Матвей, – сказал Горбовский. – Я тебе правда нужен?

– Да, – сказал директор. – Очень. – Он всё смотрел в окно.

– Матвей, – сказал Горбовский. – Расскажи мне, в чём дело.

– Госка, предчувствия, заботы, – продекламировал Матвей и замолчал.

Горбовский поёрзал, устраиваясь, тихонько включил проигрыватель и так же тихонько сказал:

– Ладно, дружок. Я посижу здесь с тобой просто так.

– Угу. Ты уж посиди, пожалуй.

Грустно и лениво звенела гитара, за окном пылало горячее пустое небо, а в кабинете было прохладно и сумеречно.

– Ждать. Будем ждать, – громко сказал директор и вернулся в своё кресло.

Горбовский промолчал.

– Да! – сказал он. – Какой же я невежливый! Я совсем забыл. Что Женечка?

– Спасибо, хорошо.

– Она не вернулась?

– Нет. Так и не вернулась. По–моему, она теперь и думать об этом не хочет.

– Всё Алёшка?

– Конечно. Просто удивительно, как это оказалось для неё важно.

– А помнишь, как она клялась: «Вот пусть только родится!...»

– Я всё помню. Я помню такое, чего ты и не знаешь. Она с ним сначала ужасно мучилась. Жаловалась. «Нет, – говорит, – у меня материнского чувства. Урод я. Дерево». А потом что–то случилось. Я даже не заметил как. Правда, он очень славный поросёнок. Очень ласковый и умница. Гулял я с ним однажды вечером в парке. Вдруг он спрашивает: «Папа, что это приседает?» Я сначала не понял. Потом... Понимаешь, ветер, качается фонарь, и тени от него на стене. «Приседает». Очень точный образ, правда?

– Правда, – сказал Горбовский. – Писатель будет. Только хорошо бы отдать его всё–таки в интернат.

Матвей махнул рукой.

– Не может быть и речи, – сказал он. – Она не отдаст. И ты знаешь, сначала я спорил, а потом подумал: «Зачем? Зачем отнимать у человека смысл жизни?» Это её смысл жизни. Мне это недоступно, – признался он, – но я верю, потому что вижу. Может быть, дело в том, что я много старше её. И слишком поздно для меня появился Алёшка. Я иногда думаю, как бы я был одинок, если бы не знал, что каждый день могу его видеть. Женька говорит, что я люблю его не как отец, а как дед. Что ж, очень может быть. Ты понимаешь, о чём я говорю?

– Я понимаю. Но мне это незнакомо. Я, Матвей, никогда не был одиноким.

– Да, – сказал Матвей. – Сколько я тебя знаю, вокруг тебя всё время крутятся люди, которым ты позарез нужен. У тебя очень хороший характер, тебя все любят.

– Не так, – сказал Горбовский. – Это я всех люблю. Прожил я чуть не сотню лет и, представь себе, Матвей, не встретил ни одного неприятного человека.

– Ты очень богатый человек, – проговорил Матвей.

– Кстати, – вспомнил Горбовский. – Вышла в Москве книга. «Нет горше твоей радости». Сергея Волковского. Очередная бомба эмоциологов. Генкин разразился желчной статьёй. Очень остроумно, но неубедительно: литература, мол, должна быть такой, чтобы её было приятно препарировать. Эмоциологи ядовито смеялись. Наверное, всё это продолжается до сих пор. Никогда я этого не пойму. Почему они не могут относиться друг к другу терпимо?

– Это очень просто, – сказал Матвей. – Каждый воображает, что делает историю.

– Но он делает историю! – возразил Горбовский. – Каждый действительно делает историю! Ведь мы, средние люди, всё время так или иначе находимся под их влиянием.

– Не хочется мне об этом спорить, – сказал Матвей. – Некогда мне об этом думать, Леонид. Я под их влиянием не нахожусь.

– Ну давай не будем спорить, – сказал Горбовский. – Давай выпьем сока. Если хочешь, я даже могу выпить местного вина. Но только если это действительно тебе поможет.

– Мне сейчас поможет только одно. Ламондуа явится сюда и разочарованно скажет, что Волна рассеялась.

Некоторое время они молча пили сок, поглядывая друг на друга поверх бокалов.

– Что–то давно к тебе никто не звонит, – сказал Горбовский. – Даже как–то странно.

– Волна, – сказал Матвей. – Все заняты. Раздоры забыты. Все удирают.

Дверь в глубине кабинета отворилась, и на пороге появился Этьен Ламондуа. Лицо у него было задумчивое, и двигался он необычайно медленно и размеренно. Директор и Горбовский молча смотрели, как он идёт, и Горбовский почувствовал неприятное ощущение под ложечкой. Он ещё представления не имел о том, что происходит или произошло, но уже знал, что уютно лежать больше не придётся. Он выключил проигрыватель.

Подойдя к столу, Ламондуа остановился.

– Кажется, я огорчу вас, – медленно и ровно сказал он. – «Харибды» не выдержали. – Голова Матвея ушла в плечи. – Фронт прорван на севере и на юге. Волна распространяется с ускорением десять метров в секунду за секунду. Связь с контрольными станциями прервана. Я успел отдать приказ об эвакуации ценного оборудования и архивов. – Он повернулся к Горбовскому. – Капитан, мы надеемся на вас. Будьте добры, скажите, какая у вас грузоподъёмность?

Горбовский, не отвечая, смотрел на Матвея. Глаза директора были закрыты. Он бесцельно гладил поверхность стола огромными ладонями.

– Грузоподъёмность? – повторил Горбовский и встал. Он подошёл к директорскому пульта, нагнулся к микрофону всеобщего оповещения и сказал:

– Внимание, Радуга! Штурману Валькенштейну и бортиженеру Диксону срочно явиться на борт звездолёта.

Потом он вернулся к Матвею и положил руку ему на плечо.

– Ничего страшного, дружок, – сказал он. – Поместимся. Отдай приказ эвакуировать Детское. Я займусь яслями. – Он оглянулся на Ламонду. – А грузоподъёмность у меня маленькая, Этьен, – сказал он.

Глаза у Этьена Ламонду были чёрные и спокойные – глаза человека, знающего, что он всегда прав.

6

Роберт видел, как всё это произошло.

Он сидел на корточках на плоской крыше башни дальнего контроля и осторожно отсоединял антенны–приёмники. Их было сорок восемь – тонких тяжёлых стерженьков, вмонтированных в скользящую параболическую раму, и каждый нужно было аккуратно вывернуть и со всеми предосторожностями уложить в специальный футляр. Он очень торопился и то и дело поглядывал через плечо на север.

Над северным горизонтом стояла высокая чёрная стена. По гребню её, там, где она упиралась в тропопаузу, шла ослепительная световая кайма, а ещё выше в пустом небе вспыхивали и гасли бледные сиреневые разряды. Волна надвигалась неодолимо, но очень медленно. Не верилось, что её сдерживает редкая цепь неуклюжих машин, казавшихся отсюда совсем маленькими. Было как–то особенно тихо и знойно, и солнце казалось особенно ярким, как в предгрозовые минуты на Земле, когда всё затихает и солнце ещё светит всюду, но полнеба уже закрыто чёрно–синими тяжёлыми тучами. В этой тишине было что–то особенно зловещее, непривычное, почти потустороннее, потому что обыкновенно наступающая Волна бросала впереди себя многобалльные ураганы и рёв бесчисленных молний.

А сейчас было совсем тихо. До Роберта отчётливо доносились торопливые голоса с площади внизу, где в тяжёлый вертолёт навалом грузили особо ценное оборудование, дневники наблюдений, записи автоматических приборов. Было слышно, как Пагава гортанно бранит кого–то за то, что преждевременно сняли анализаторы, а Маляев неспешно обсуждает с Патриком сугубо теоретический вопрос о вероятном распределении зарядов в энергетическом барьере над Волной. Всё население Гринфилда собралось сейчас в этой башне под ногами Роберта и на площади. Взбунтовавшиеся биологи и две компании туристов, остановившиеся накануне в посёлке на ночлег, были отправлены за полосу посевов. Биологов отправили на птерокаре вместе с лаборантами, которым Пагава приказал оборудовать за полосой посевов новый наблюдательный пункт, а за туристами прибыл специальный аэробус из Столицы. И биологи и туристы были очень недовольны; и когда они улетели, в Гринфилде остались только довольные.

Роберт работал почти машинально и, как всегда, работая руками, думал о самых разных вещах. Очень болит плечо. Странно: плечом нигде не стучался. Живот саднит, ну, живот понятно – когда споткнулся об ульмотрон. Интересно, как сейчас выглядит этот ульмотрон.

И как выглядит мой птерокар. И как выглядит... Интересно, что здесь будет через три часа. Цветники жалко... Детишки целое лето трудились, выдумывали самые фантастические сочетания цветов. И тогда мы познакомились с Таней. Та-ня, – тихонько позвал он. Как ты там сейчас? Он прикинул расстояние от фронта Волны до Детского. Безопасно, подумал он с удовлетворением. Они там, наверное, и не знают о том, что Волна, что взбунтовались биологи, что я чуть не погиб, что Камилл...

Он выпрямился, вытер лицо тыльной стороной ладони и посмотрел на юг, на бесконечные зелёные поля хлеба. Он пытался думать о гигантских стадах мясных коров, которых перегоняют сейчас в глубь континента; о том, как много придётся работать над восстановлением Гринфилда, когда рассеется Волна; и как неприятно после двухлетнего изобилия снова возвращаться к синтетице, к искусственным бифштексам, к грушам с привкусом зубной пасты, к хлорелловым «супам сельским», к котлетам бараньим квазибиотическим и прочим чудесам синтеза, будь они неладны... Он думал о чём попало, но он ничего не мог сделать.

Никуда не уйти от удивлённых глаз Пагавы, от ледяного тона Маляева, от преувеличенно-участливого обращения Патрика. Самое страшное, что ничего нельзя сделать. Что со стороны это должно выглядеть, мягко выражаясь, странно. А зачем, собственно, выражаться мягко? Это выглядит попросту однозначно. Испуганный наблюдатель в растерзанном виде прилетает в чужом флаере и заявляет о гибели товарища. А товарищ, оказывается, был жив. Товарищ, оказывается, погиб уже после, когда испуганный наблюдатель удирал на его флаере. Но он же был раздавлен насмерть, в десятый раз повторял про себя Роберт. А может быть, это был просто бред? Может быть, я перепугался до бреда? Никогда не слышал о таких вещах. Но ведь и о том, что случилось – если это случилось, – я тоже никогда не слышал. Ну и пусть, в отчаянии подумал он. Пусть не верят. Танюшка поверит. Только бы она поверила! А им всё равно, они о Камилле забыли сразу. Они будут вспоминать о нём, только когда будут видеть меня. И будут смотреть на меня своими теоретическими глазами, и анализировать, и сопоставлять, и взвешивать. И строить наименее противоречивые гипотезы, и только правды они никогда не узнают... И я тоже никогда не узнаю правды.

Он вывернул последнюю антенну, уложил её в футляр, затем собрал все футляры в плоский картонный ящик, и тут с севера донёсся гулкой хлопок, словно в огромном пустом зале лопнул воздушный шарик. Обернувшись, Роберт увидел, как на аспидно-чёрном фоне Волны встаёт длинный белый факел. Горела «харибда». Сейчас же внизу смолкли голоса, взвыл и заглох работавший вхолостую мотор вертолёта. Наверное, все там прислушивались и смотрели на север. Роберт ещё не понял, что произошло, когда затряслось, задрезбужало и из-под башни, подминая уцелевшие пальмы, поползла резервная «харибда», задирая на ходу раструб поглотителя. На открытом месте она взревела так, что заложило уши, и покатила на север затыкать прорыв, окутавшись облаком рыжей пыли.

Дело было довольно обычное: одна из «харибд» не успела отвести в базальт избыток энергии из ёмкостей, и Роберт уже нагнулся за картонным ящиком, но тут у подножья чёрной стены что-то ярко вспыхнуло, взлетел веер разноцветного пламени, и ещё один столб белого дыма, наливаясь и густея на глазах, потянулся к небу. Докатился новый хлопок. Внизу дружно закричали, и Роберт сразу увидел далеко к востоку ещё несколько факелов. «Харибды» вспыхивали одна за другой, и через минуту тысячекилометровая стена Волны, напоминавшая теперь классную доску, исчерченную мелом, качнулась и поползла вперёд, выбрасывая перед собой в степь чёрные вспухающие кляксы. Роберт с трудом глотнул пересохшим горлом и, подхватив ящик, побежал вниз по лестнице.

По коридорам металась люди. Пробежала перепуганная Зиночка, прижимая к груди пачку коробок с плёнкой. Гасан Али-Заде и Карл Гофман со сверхъестественной скоростью волокли к выходу громоздкий саркофаг лабораторного хемостазера – их словно ветром несло. Кто-то звал: «Идите сюда! Не могу я один! Гасан!...» В вестибюле зазвенело разбитое стекло. Зафыркали моторы на площади. В диспетчерской, топча разбросанные карты и

бумаги, прыгал перед экраном Пагава и нетерпеливо кричал: «Почему не слышишь? „Харибды“ горят! Горят „харибды“, говорю! Волна пошла! Ничего, понимаешь, не слышу!... Этьен! Если понял, кивни!...»

Роберт, морщась от боли, взвалил коробку на плечо и стал спускаться в вестибюль. Позади кто-то, шумно дыша, грохотал по ступенькам. Вестибюль был усеян обёрточной бумагой и обломками какого-то прибора. Дверь из небьющегося стекла была расколота вдоль. Роберт боком протиснулся на крыльцо и остановился. Он увидел, как один за другим уходят в небо битком набитые птерокары. Он увидел, как Маляев, молча, с каменным лицом, впахивает в последний птерокар девушек-лаборанток. Он увидел, как Гасан и Карл, разеваая от натуги рты, пытаются закинуть свой саркофаг в дверцу вертолѐта, а кто-то изнутри старается им помочь, и каждый раз саркофаг бьѐт его по пальцам. Он увидел Патрика, совершенно спокойного, сонного Патрика, прислонившегося спиной к заднему фонарю вертолѐта с видом сосредоточенным и задумчивым. А повернув голову, он увидел чуть ли не над собой угольно-чѐрную стену Волны, бархатным занавесом закрывающую небо.

– Перестаньте же грузить! – закричал у него над ухом Пагава. – Опомнитесь! Немедленно бросьте этот гроб!

Хемостацер с тяжким звоном рухнул на бетон.

– Выбрасывайте всё! – кричал Пагава, сбегая с крыльца. – Всем в вертолѐт немедленно! Не видите, да? Я кому говорю, Скларов! Патрик, заснул?!

Роберт не двинулся с места. Патрик тоже. В это время Маляев, навалившись, захлопнул дверцу птерокара и замахал руками. Птерокар растопырил крылья, тяжело подпрыгнул и, перекосившись на борт, ушѐл за крыши. Из вертолѐта летели ящики. Кто-то вопил плачущим голосом: «Не дам, Шота Петрович! Это я им не дам!...» – «Дашь, голубчик! – ревел Пагава. – Ещѐ как дашь!» К Пагаве подбежал Маляев, крича что-то и указывая на небо. Роберт поднял глаза. Маленький вертолѐт-наводчик, утыканный, как ѐж, антеннами, с ужасным воем перегретого двигателя пронѐсся над площадью и, быстро уменьшаясь, умчался на юг. Пагава воздел над головой стиснутые кулаки:

– Куда? – заорал он. – Назад! Назад, шени деда! Прекратить панику! Остановить его!

Всѐ это время Роберт стоял на крыльце, удерживая на ноющем плече тяжѐлый картонный ящик. У него было такое впечатление, будто он в кино. Вот разгружают вертолѐт. То есть попросту вываливают из него всё, что попадает под руку. Вертолѐт действительно перегружен – это видно по просевшим шасси. Рядом с вертолѐтом толкуются. Сначала толклись с криками, теперь замолчали. Гасан сосѐт косточки на пальцах – наверное, ободрался. Патрик, кажется, совсем заснул. Нашѐл время и, главное, место!... Карл Гофман, человек педантичный (то, что называется «вдумчивый и осторожный учёный»), подхватывает летящие из вертолѐта ящики и пытается складывать их аккуратно – вероятно, для самоутверждения. Пагава нетерпеливо прыгает возле вертолѐта и всё время поглядывает то на Волну, то на башню контроля. Ему явно не хочется улетать, и он жалеет, что он здесь старший. Маляев стоит в стороне и тоже смотрит на Волну – не отрываясь и с холодной враждой. А в тени коттеджа, где жил Патрик, стоит мой флаер. Интересно, кто его туда отвѐл и зачем? На флаер никто не обращает внимания, да он не нужен никому: осталось человек десять, не меньше. Вертолѐт хороший, мощный, класса «гриф», но при таком грузе он пойдѐт с половинной скоростью. Роберт поставил ящик на ступеньку.

– Не успеем, – сказал Маляев.

В голосе его была такая тоска и горечь, что Роберт удивился. Но он уже знал, что все успеют.

Он подошѐл к Маляеву.

– Есть ещѐ резервная «харибда», – сказал он. – Четверть часа вам хватит?

Маляев смотрел на него, не понимая.

– Есть две резервные «харибды», – холодно сказал он и вдруг понял.

– Ладно, – сказал Роберт. – Не забудьте Патрика. Он с той стороны вертолѐта.

Роберт повернулся и побежал. Вслед ему закричали, но он не оглядывался. Он бежал

изо всех сил, перепрыгивая через брошенные аппараты, через грядки с декоративными растениями, через аккуратно подстриженные кусты с пахучими белыми цветами. Он бежал к западной окраине. Справа над крышами стояла чёрная бархатная стена, упирившаяся в зенит, а слева палило ослепительное белое солнце. Роберт обогнул последний дом и сразу наткнулся на необъятную корму «харибды». Он увидел клочья зелени, застрявшие в сочленениях исполинских гусениц, растерзанные лепестки яркого цветка, прилипшие к траку, ободранный ствол молодой пальмы, торчащий между ленивцами, и, не поднимая глаз, полез наверх по узкому трапу, обжигая руки о накалённые солнцем перекладыны. Всё так же не поднимая глаз, он съехал на спине в кабину ручного управления, уселся в кресло, откинул стальную заслонку перед лицом, и вновь его руки заработали привычно, автоматически. Правая рука протянулась вперёд и врубила ток, левая одновременно включила сцепление, перевела управление на ручное, а правая уже тянулась назад, отыскивая клавишу стартера; и когда всё вокруг заревело, загрохотало и затряслось, левая, уже совершенно ни к чему, включила систему кондиционирования. Затем – уже сознательно – он нашарил рычаг управления поглотителем, отвёл его до отказа на себя и только тогда решился посмотреть вперёд через отброшенную заслонку.

Прямо перед ним была Волна. Вероятно, ни один человек после Лю ещё никогда не был так близко от Волны. Она была просто чёрная, без малейших прожилок, и залитая солнцем степь до самого горизонта отчётливо рисовалась на её фоне. Была видна каждая травинка, каждый кустик. Роберт видел даже землероек, жёлтыми столбиками ошарашенно замерших перед своими норками.

Над головой возник и начал стремительно нарастать сухой звенящий вой – заработал поглотитель. «Харибда» плавно раскачивалась на ходу. В зеркале заднего вида прыгали в пыли здания посёлка. Вертолёт видно не было. Ещё метров сто, нет, ещё метров пятьдесят – и довольно. Он покосился налево, и ему почудилось, что стена Волны уже немного выгнулась. Впрочем, судить об этом было очень трудно. А может быть, и не успею, подумал он. Он не сводил глаз с белых дымных столбов, поднимающихся из-за горизонта. Дым рассеивался быстро и был теперь едва виден. Интересно, что могло гореть в «харибдах»?

Хватит, подумал он, нажимая на тормоз. А то не убежать. Он снова поглядел в зеркало заднего вида. Долго, ох, долго возятся, подумал он. Степь перед «харибдой» медленно темнела огромным треугольником, в вершине которого находился поглотитель. Землеройки вдруг беспокойно запрыгали, одна из них шагах в двадцати вдруг упала на спину, судорожно дёргая лапками.

– Убегайте, дурачки! – сказал вслух Роберт. – Вам можно... – и тут он увидел вторую «харибду». Она стояла в полукилометре к востоку, жадно задрал чёрный раструб поглотителя, и перед ней точно так же темнела трава, ёжась от нестерпимого холода.

Роберт ужасно обрадовался. Молодец, подумал он. Умница! Смельчак! Неужели Маляев? А почему бы нет? Ведь он тоже человек, и всё человеческое ему не чуждо... А может, сам Пагава? Впрочем, его просто не пустят. Свяжут и сунут под сиденье и ещё ногами придавят, чтобы не брыкался. Нет, молодец, молодец! Он толкнул бортовой люк, высунулся и закричал:

– Эге-ге! Держись, дружище! Вдвоём мы тут с тобой год простоим!...

Он посмотрел на приборы и сразу забыл обо всём. Ёмкости были на исходе: светящаяся стрелка под запялённым стеклом упиралась в ограничитель. Он быстро взглянул в зеркало заднего вида, и у него немного отлегло от сердца. В белом небе над крышами посёлка висело быстро уменьшающееся тёмное пятнышко. Ещё минут десять, подумал он. Теперь было ясно видно, что фронт Волны перед посёлком прогнулся. Волна обтекала зону действия «харибд» с востока и с запада.

Роберт посидел немного, стиснув зубы. Вся его энергия уходила на то, чтобы отогнать видение обгорелого трупа в водительском кресле. Хорошо бы научиться по желанию выключать воображение... Он встрепенулся и принялся открывать все люки, какие только мог вспомнить. Тяжёлый круглый люк над головой. Люк слева – настезь его! Люк справа

уже приоткрыт – тоже настезь... Дверцу за спиной, ведущую в машинное отделение... Нет, её лучше закрыть – взрыв происходит, наверное, именно там, в ёмкостях... На засов её, на засов... Как раз в этот момент соседняя «харибда» взорвалась.

Роберт услышал короткий оглушительный гром, его толкнуло горячим воздухом, и, высунувшись из люка, он увидел, что на месте соседа стоит огромная туча жёлтой пыли, закрывающая степь, и небо, и Волну, а в глубине тучи что-то тлеет ярким вздрагивающим светом. Что-то прошелестело в воздухе и звонко стукнулось о броню. Роберт глянул на приборы и одним движением выбросился через левый люк.

Он упал ничком в горячую сухую траву, вскочил и, пригибаясь, пустился бегом к посёлку. Так он не бегал никогда в жизни. Его «харибда» взорвалась, когда он был уже в палисаднике крайнего дома. Он даже не оглянулся, только втянул голову в плечи, согнулся ещё ниже и побежал ещё быстрее. Вечная тебе слава, твердил он. Вечная тебе слава!... Потом он сообразил, что повторяет эти слова с того момента, когда увидел на месте соседней «харибды» этот жуткий столб пыли.

Площадь была пуста, газоны вытоптаны, всюду валялась ценнейшая уникальная аппаратура, коробки с уникальными записями, и лёгкий ветерок лениво перелистывал уникальные дневники уникальных наблюдений.

Тяжело дыша, Роберт пересёк площадь и подбежал к флаеру. Двигатель флаера работал, а на водительском месте с обычным своим сонным видом сидел Патрик.

– Ну, вот и ты, – сказал Патрик ласково. Роберт ошарашенно смотрел на него. – Я уж думал, ты там остался. Садись скорее, надо уносить ноги. У неё скорость сейчас – ой-ей-ей!...

Роберт повалился на сиденье рядом с ним.

– погоди, – сказал он, задыхаясь. – Может быть, второй... тоже спасся? Кто это был? Маляев, Гофман?...

Патрик неуклюже завертел рукояткой, выводя флаер для разгона.

– Второй – это я, – сказал он застенчиво.

– Ты?

– Я, – повторил Патрик и нервно хихикнул. Он вырулил флаер на дорожку и, наконец, поднял его. – Я почувствовал, что взрываюсь, вылез и убежал. Здорово громыхнула, верно? Меня до самого посёлка катило...

Посёлок медленно повернулся под ними и скользнул назад. Ай да Патрик, подумал Роберт с недоумением.

– А моя посильнее грохнула, – заявил Патрик. – Как тебе кажется, Роб, а?...

– Куда ты летишь? – спросил Роберт.

– В Холодные Ручьи, – сказал Патрик. – Новая база будет там.

7

Роберт посмотрел через плечо. Ничего уже не было видно, кроме белёсого неба и зелёных полей.

Два раза я уже сегодня от неё уходил, подумал он. Не миновать и третьего.

– Что теперь будет? – спросил он.

Патрик выпятил толстые губы.

– Плохо будет. У неё огромный запас инерции.

– Ты пробовал подсчитать?

– Да.

– Ну?

Патрик тяжело вздохнул и ничего не ответил. Роберт, сдвинув брови, смотрел прямо перед собой. Потом он включил рацию флаера и настроился на Детское. Он несколько раз нажал на клавишу вызова, но Детское не отзывалось. Не надо беспокоиться, думал он. Летний праздник и всё такое. Как странно, они ещё ничего не знают. И пусть ничего не

знают. Буду знать только я. Он опять спросил:

– Куда мы летим?

– Ты уже спрашивал.

– Ах, да... Патрик, дружище, тебе очень нужно в эти ручьи?

– Конечно. Куда же нам ещё?

Роберт откинулся на сиденье.

– Да, – сказал он. – Зря ты остался.

– В каком смысле «зря»?

– Ты можешь побыстрее?

– Могу...

– А ещё быстрее?

Патрик промолчал. Двигатель клокотал, захлёбываясь воздухом.

– Мы всегда торопимся, – пробормотал Патрик. – Всегда нас что-то или кто-то подгоняет. Быстрее, ещё быстрее... А нельзя ли ещё быстрее? Можно, отвечаем мы. Пожалуйста!... Нет времени осмотреться. Нет времени подумать. Нет времени разобраться – зачем и стоит ли? А потом появляется Волна. И мы опять торопимся.

– Подавай больше горючего, – сказал Роберт. Он думал совсем о другом.

– И держи правее.

Патрик замолчал. Внизу проносились зелёные поля созревающего хлеба, редкие белые домики синоптических станций. Было видно, как прямо через хлеба гнали на юг скот. Киберпастухи казались с этой высоты крошечными блестящими звёздочками. Всё это было уже не нужно.

– Ты не слыхал что-нибудь о «Стреле»? – спросил Роберт.

– Нет. «Стрела» далеко. Она не успеет. Брось об этом думать, Роб!

– О чём же мне ещё думать? – пробормотал Роберт.

– А ни о чём. Сядь поудобнее и смотри вокруг. Не знаю, как ты, а я ничего этого раньше не замечал. По-моему, я никогда даже не видел эту зелёную волну на хлебах от ветра... Волну! Тьфу! А знаешь, когда я всё это впервые увидел? Знаешь? Когда смотрел в степь через железную заслонку на «харибде». Я всё смотрел на эту черноту и вдруг увидел степь и понял, что всему конец. И мне стало ужасно жалко этого. А землеройки смотрели на Волну и ничего не понимали... И знаешь, что я открыл, Роб? Где-то мы просчитались.

Роберт молчал. Поздно спохватился, думал он. Надо было смотреть раньше, хотя бы в окно.

Внизу проплывали белые прямоугольники зданий, бетонированные площади, полосатые башни энергоантенн – это была одна из многочисленных энергетических станций северного пояса.

– Снижайся, – сказал Роберт.

– Куда?

– Вон площадь – видишь? – где птерокары.

Патрик глянул через борт.

– Действительно, – сказал он. – А зачем?

– Возьмёшь себе птерокар, а мне отдашь флаер.

– Что ты задумал? – спросил Патрик.

– Полетишь дальше один. Мне в Ручьи не надо. Снижайся.

Патрик послушно пошёл на посадку. Флаер он всё-таки водил отвратительно. Роберт разглядывал площадь.

– Превосходная организация, – пробормотал он насмешливо. – Мы там давимся, всё бросаем, а здесь на двух дежурных три птерокара.

Флаер неуклюже сел между птерокарами. Роберт прикусил язык.

– Ох! – сказал он. – Ну, вылезай, вылезай.

Патрик очень медленно и неохотно слез с сиденья.

– Роб, – сказал он неуверенно, – может быть, это не моё дело, но что же ты всё-таки

задумал?

Роберт проворно передвинулся на его место.

– Не беспокойся, ничего страшного. Ты справишься с птерокаром?

Патрик стоял, опустив руки, и лицо его приняло жалостливое выражение.

– Роб, – сказал он. – Смотри на вещи трезво. Над Волной плазмовый барьер в сто километров. Тебе не перепрыгнуть.

Роберт с изумлением посмотрел на него.

– Он уже давно погиб, – сказал Патрик. – Первый раз ты мог ошибиться, но теперь там прошла Волна.

– О чём ты? – спросил Роберт. – Я не собираюсь прыгать через Волну, будь она проклята. У меня есть дело поважнее. Прощай. Передай Маляеву, я не вернусь. Прощай, Патрик.

– Прощай, – сказал Патрик.

– Ты мне так и не сказал, справишься ты с птерокаром или нет?

– Справлюсь, – печально сказал Патрик. – Птерокар я знаю хорошо. Эх, Роб!...

Роберт круто взял на себя ручку управления, и когда он через пять минут оглянулся, энергостанция уже скрылась за горизонтом. До Детского было два часа лёту. Роберт проверил горючее, послушал двигатель, перевёл его на самый экономичный режим и включил киберпилот. Потом он снова попробовал вызвать Детское. Детское молчало. Роберт хотел выключить рацию, но подумал и переключил приёмник на самонастройку.

– ...девятого класса Асмодей Барро нашёл во время экскурсии окаменевшие организмы, напоминающие морских ежей. Место находки отстоит довольно далеко от побережья...

– ...совещание у директора. Здесь ходят какие-то странные слухи. Говорят, Волна дошла до Гринфилда. Не вернуться ли мне на базу? Сейчас, по-моему, не до ульмотронов.

– ...поставить своими силами не удастся. У нас нет Отелло. Если говорить откровенно, идея ставить Шекспира представляется мне абсурдной. Не думаю, чтобы мы оказались способны на новую интерпретацию, а ждать, пока...

– ...Витя, как ты меня слышишь? Витя, изумительная новость! Буллит раскодировал этот ген. Возьми бумагу и пиши. Шесть... Одиннадцать... Одиннадцать, говорю...

– Внимание, Радуга! Начальникам всех поисковых партий. Начать эвакуацию. Обрати особое внимание на то, чтобы все летательные транспортные средства класса не ниже «медузы» были доставлены в Столицу.

– ...небольшой голубой коттеджик прямо на берегу. Здесь очень свежий воздух, превосходное солнце. Я никогда не любила Столицу и никогда не понимала, зачем её построили на экваторе. Что? Ну конечно, ужасно душно...

– ...Сойер! Сойер! Я Канэко. Немедленно меняй курс. Художники уже нашлись. Иди на юг. Разыщи третий вертолёт. Третий вертолёт не прибыл...

– Внимание, испытатели! Сегодня в четырнадцать часов состоится внеплановый ноль-запуск человека к Земле. Просьба прибыть в Институт не позже тринадцати часов...

– ...Ничего не понимаю. Никак не могу связаться с директором. Все каналы заняты. Ты не знаешь, что происходит?

– Адольф! Адольф! Умоляю, откликнись! Умоляю, возвращайся немедленно! Ещё есть шанс попасть на звездолёт!... (Голос стал уплывать, но Роберт придержал верньер.) Страшная катастрофа! Почему-то об этом ничего не сообщают, но мне сказали, что Радуга обречена! Возвращайся немедленно! Я хочу быть с тобой сейчас...

Роберт отпустил верньер.

– ...как всегда. У Веселовского. Нет, Синица читает новые стихи. По-моему, любопытные. Мне кажется, они должны тебе понравиться. Нет, это, конечно, не шедевр, однако...

– ...Почему же, я всё прекрасно понимаю. Но посуди сам, «Таризель-Второй» – это десантный звездолёт. Ты пробовал прикинуть, сколько людей он может взять? Нет, я уж

останусь здесь. Вера тоже решила остаться. Не всё ли равно, где...

– Следопыты, Следопыты! Место сбора – Столица. Все в Столицу! Забирайте с собой «кроты», будем рыть убежище. Может быть, успеем...

– ..."Таризель», говорите? Знаю, как же, Горбовский. Да, грузоподъёмность у него, к сожалению, невелика. Ну что ж... Я предлагаю приблизительно такой список: от дискретников – Пагава, от волновиков – Аристотель, может быть Маляев, от барьерщиков я бы рекомендовал Форстера... Ну и что же, что он старый? Он велик! Вам, голубчик, сорок лет, и вы, я вижу, плохо представляете себе психологию старика. Всего-то навсего осталось жить лет пять-десять, и то не дают...

– Габа! Габа! Слышал о нуль-запуске? Что? Занят? Вот странный человек... Я лечу в институт. Почему же я с ума сошёл? Да знаю я всё это, знаю... Именно сейчас! А если вдруг получится? Ну, прощай. Ищи то, что от меня останется, где-нибудь возле Проциона...

– Опять физики что-то взорвали на Северном полюсе. Надо бы слетать посмотреть, но тут прибыл какой-то вертолёт, и нас всех приглашают в Столицу. Ах, вас тоже? Странно!... Ну, там увидимся.

Роберт выключил рацию. «Таризель-Второй», десантник... Он взял управление от киберпилота и до предела увеличил обороты двигателя. Хлеба внизу кончились, началась полоса тропических лесов. Ничего нельзя было разглядеть в пёстрой жёлто-зелёной путанице, но Роберт знал, что там, под сенью исполинских деревьев, проходят прямые шоссе и по этим шоссе, вероятно, уже мчатся на запад машины с беженцами. Несколько тяжёлых грузовых вертолётов прошли на юго-запад где-то возле самого горизонта. Они скрылись из виду, и Роберт снова остался один. Он вытащил радифон и набрал номер Патрика. Патрик долго не откликался. Наконец послышался его голос:

– Алло?

– Патрик, это я, Скляр. Патрик, что известно о Волне?

– Всё то же, Роб. Берег Пушкина затоплен. Аодзора сгорела. Рыбачий горит сейчас. Несколько «харибд» уцелело, их оттаскивают на буксире к Столице. А ты где?

– Это неважно, – сказал Роберт. – Сколько от Волны до Детского?

– До Детского? Зачем тебе Детское? До Детского далеко. Слушай, Роб, если уцелеешь, срочно лети в Столицу. Мы все там будем через полчаса. – Он вдруг хихикнул. – Маляева пытались всадить в звездолёт. Жалко, тебя не было. Он разбил Гасану нос. А Пагава куда-то спрятался.

– А тебя не пытались всадить?

– Ну зачем же ты так, Роб...

– Ладно, извини. Значит, от Детского Волна пока далеко?

– Не то чтобы далеко... Час-полтора...

– Спасибо, Патрик. До свидания.

Роберт снова попытался связаться с Таней, на этот раз по радифону. Он ждал пять минут. Таня не отвечала...

Детское было пусто. Над стеклянными спальнями, над садами, над пёстрыми коттеджами висела тишина. Здесь не было того панического беспорядка, который оставили после себя нулевки в Гринфилде. Песчаные дорожки были аккуратно подметены, парты в саду стояли, как всегда, ровными рядами, постели были старательно прибраны. Только на дорожке перед Таниным коттеджем валялась на песке забытая кукла. Возле куклы сидел большеглазый пушистый ручной калям. Он старательно обнюхивал её, поглядывая на Роберта с добродушным любопытством.

Роберт вошёл в Танину комнату. Здесь было, как всегда, чисто, светло и хорошо пахло. На столе лежала раскрытая тетрадь, через спинку стула свисало большое махровое полотенце. Роберт потрогал его – оно было ещё влажное.

Роберт постоял у стола, потом рассеянно скользнул взглядом по тетради. Он дважды прочёл своё имя, прежде чем это дошло до его сознания. Имя было написано большими печатными буквами.

«РОБИК! Нас срочно эвакуировали в Столицу. Ищи меня в Столице. Непременно найди! Нам ещё ничего не говорили, но, кажется, надвигается что-то страшное. Ты мне нужен, Робик. Найди меня. *Твоя Т.*».

Роберт вырвал листок из тетради, сложил вчетверо и спрятал в карман. Он последний раз окинул взглядом Танину комнату, открыл стенной шкаф, потрогал её платья, снова закрыл шкаф и вышел из коттеджа.

От Таниного коттеджа было хорошо видно море – спокойное, похожее на застывшее зелёное масло. Десятки тропинок вели через траву к жёлтому пляжу, на котором были разбросаны шезлонги и топчаны. Несколько лодок лежали вверх килем у самой воды. А горизонт на севере горел нестерпимо яркими солнечными бликами. Роберт быстро пошёл к флаеру. Он перешагнул через борт, остановился и снова оглянулся на море. И вдруг он понял: это было не солнце, это был гребень Волны.

Он устало опустил на сиденье и тронул флаер. То же самое и на юге, подумал он. Она теснит нас с севера и с юга. Мышеловка. Коридор между двух смертей. Флаер снова понёсся над тропическим лесом. Сколько ещё осталось, думал он. Два часа, три? Два места в звездолёте, десять?

Лес под флаером вдруг кончился, и Роберт увидел на обширной лужайке большой пассажирский аэробус, окружённый толпой людей. Он машинально притормозил и стал снижаться. Видимо, аэробус терпел аварию, и все эти люди рядом с ним – странно, какие они все маленькие! – ждали, пока пилот исправит повреждение. Он увидел пилота – огромного чернокожего человека, копавшегося в двигателе. Затем он понял, что это дети, и тут же увидел Таню. Она стояла возле пилота и принимала от него какие-то детали.

Флаер упал в десяти шагах от аэробуса, и все сейчас же обернулись к нему. Но Роберт видел только Таню, её прекрасное измученное лицо, тонкие руки, прижимающие к груди испачканные железки, и удивлённо расширившиеся глаза.

– Это я, – сказал Роберт. – Что случилось, Таня?

Таня молча смотрела на него, и тогда он поглядел на чернокожего пилота и узнал Габу. Габа широко заулыбался и крикнул:

– А, Роберт! Иди-ка сюда, помоги! Таня – чудесная девочка, но она никогда не имела дела с аэробусами! И я тоже! А у него всё время глохнет двигатель!

Дети – семилетние мальчики и девочки – рассматривали Роберта с интересом. Роберт подошёл к аэробусу и, мимоходом ласково коснувшись щекой Таниных волос, заглянул в двигатель. Габа похлопал его по спине. Они хорошо знали друг друга. Они отлично сошлись – Роберт и десять отчаянно скучающих нуль-испытателей, которые уже два года сидели здесь без дела после неудачного опыта с собакой Фимкой.

То, что Роберт увидел в двигателе, заставило его на секунду задержать дыхание. Да, Габа, по-видимому, действительно не имел никогда раньше дела с аэробусами. Сделать ничего было нельзя – кончилось горючее. Габа совершенно напрасно почти разобрал двигатель. Это бывает. Такое бывает даже с самыми опытными водителями: в аэробусах не часто кончается горючее. Роберт украдкой поглядел на Таню. Она прижимала к груди грязные от смазки взрывные цилиндры и ждала.

– Итак? – бодро спросил Габа. – Правильно мы грешили на вот этот рычаг, не знаю, как он там называется?

– Что ж, – сказал Роберт, – очень возможно. – Он взялся за рычаг и подёргал его. – Кто-нибудь знает, что вы здесь засели?

– Я сообщал, – ответил Габа. – Но у них там не хватает машин. Ты знаешь историю с эмбриозародышами?

– Ну, ну, – сказал Роберт, бесцельно, но очень аккуратно очищая паз подающего рычага. Он нагнулся так, чтобы его лица не было видно.

– Понадобился транспорт. Канэко стал выращивать «медузы», а оказалось, что это не «медузы», а кибернетические кухни. Ошибка снабжения, а? – Габа захохотал. – Как тебе это нравится?

– Сплошной смех, – сказал Роберт сквозь зубы.

Он поднял голову и осмотрел небо. Он увидел пустую белёсую синеву и на севере над верхушками далёких деревьев ослепительно яркий гребень Волны. Тогда он мягко опустил откинутый капот, пробормотал: «Га–ак... Посмотрим!» – и обошёл аэробус с другой стороны, где никого не было. Там он сел на корточки, прижавшись лбом к блестящей полированной обшивке. По другую сторону аэробуса Габа нежным громыхающим голосом зашел:

One is none, two is some,
Three is a many, four is a penny,
Five is a little hundred...

Открыв глаза Роберт увидел его пляшущую тень на траве – тень поднятых рук с растопыренными пальцами. Габа развлекал детей. Роберт выпрямился и, распахнув дверцу, влез в аэробус. В кресле водителя сидел мальчик, ожесточённо вцепившийся в рукояти управления. Он выделывал рукоятями необычайные фигуры и при этом свистел и дудел.

– Смотри – оторвёшь, – сказал Роберт.

Мальчик не обратил на него внимания.

Роберт хотел включить СОС–маяк, но увидел, что маяк уже включён. Тогда он снова оглядел небо. Через спектролит фонаря небо казалось нежно–голубым, и оно было совершенно пустое. Надо решаться, подумал он. Он покосился на мальчика. Мальчуган азартно изображал рёв ветра.

– Выйди–ка сюда, Роб, – сказал Габа. Он стоял возле двери. Роберт вышел. – Прикрой дверь, – сказал Габа. Было слышно, как Таня рассказывает что–то ребятишкам по ту сторону аэробуса и как свистит и дудит мальчик на сиденье пилота.

– Когда она будет здесь? – спросил Габа.

– Через полчаса.

– Что случилось с двигателем?

– Нет горячего.

Лицо Габы сделалось серым.

– Почему? – бессмысленно спросил он. Роберт промолчал. – А в твоём флаере?

– Такому сундуку этого не хватит и на пять минут.

Габа ударил себя кулаками по лбу и сел на траву.

– Ты механик, – сказал он хрипло. – Придумай что–нибудь.

Роберт прислонился к аэробусу.

– Помнишь сказочку про волка, козу и капусту? Здесь дюжина ребятишек, женщина и мы с тобой. Женщина, которую я люблю больше всех людей на свете. Женщина, которую я спасу во что бы то ни стало. Так вот. Флаер двухместный...

Габа покивал.

– Понимаю. Тут и говорить не о чём, конечно. Пусть Таня садится во флаер и берет с собой столько ребятишек, сколько туда влезет...

– Нет, – сказал Роберт.

– Почему нет? Через два часа они будут в Столице.

– Нет, – повторил Роберт. – Это не спасёт её. Волна будет в Столице через три часа. Там ждёт звездолёт. Таня должна улететь на нём. Не спорь со мной! – яростно прошептал он. – Возможны только два варианта: либо лечу я с Таней, либо с Таней летишь ты, но тогда ты поклянёшься мне всем святым, что Таня улетит в этом звездолёте! Выбирай.

– Ты сошёл с ума! – сказал Габа. Он медленно поднимался с травы. – Это дети! Опомнись!...

– А те, кто останется здесь, они не дети? Кто выберет троих, которые полетят в Столицу и на Землю? Ты? Иди, выбирай!

Габа беззвучно открывал и закрывал рот. Роберт посмотрел на север. Волна была видна

уже хорошо. Сияющая полоса поднималась всё выше, таща за собой тяжёлый чёрный занавес.

– Ну? – сказал Роберт. – Ты клянёшься?

Габа медленно покачал головой.

– Тогда прощай, – сказал Роберт.

Он сделал шаг вперёд, но Габа преградил ему дорогу.

– Дети! – сказал он почти беззвучно.

Роберт обеими руками схватил его за отвороты куртки и приблизил лицо вплотную к его лицу.

– Таня! – сказал он.

Несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза.

– Она возненавидит тебя, – тихо сказал Габа. Роберт отпустил его и засмеялся.

– Через три часа я тоже умру, – сказал он. – Мне будет всё равно. Прощай, Габа.

Они разошлись.

– Она не полетит с тобой, – сказал Габа вдогонку.

Роберт не ответил. Я это и сам знаю, подумал он. Он обошёл аэробус и длинными прыжками побежал к флаеру. Он видел лицо Тани, обращённое к нему, и смеющиеся лица детишек, окружающих Таню, и он весело помахал им рукой, чувствуя сильную боль в мускулах лица, судорожно свёрнутых в беззаботную улыбку. Он подбежал к флаеру, заглянул внутрь, затем выпрямился и крикнул:

– Танюшка, иди–ка помоги мне!

И в это же мгновение с другой стороны аэробуса появился Габа. Он скакал на четвереньках.

– А ну, что вы здесь скучаете? – заорал он. – Кто поймает Шер–Хана – великого тигра джунглей?!

Он испустил протяжный рык и, брыкнув ногами, помчался на четвереньках в лес. Несколько секунд ребятишки, открыв рты, смотрели на него, потом кто–то весело взвизнул, кто–то воинственно завопил, и всей толпой они побежали за Габой, который уже выглядывал с рычанием из–за деревьев.

Таня, оглядываясь и удивлённо улыбаясь, подошла к Роберту.

– Как странно, – сказала она. – Словно и нет никакой катастрофы.

Роберт всё глядел вслед Габе. Никого уже не было видно, но смех и визг, хруст кустарников и грозный рык Шер–Хана явственно доносились из чащи.

– Как ты странно улыбаешься, Робик, – сказала Таня.

– Чудак этот Габа! – сказал Роберт и сейчас же пожалел: надо было молчать. Голос не слушался его.

– Что случилось, Роб? – сразу спросила Таня.

Он невольно посмотрел вверх её головы. Она тоже обернулась и тоже посмотрела и испуганно прижалась к нему.

– Что это? – спросила она.

Волна уже доходила до солнца.

– Надо спешить, – сказал Роберт. – Полезай в кабину и подними сиденье.

Она ловко прыгнула в кабину, и тогда он огромным прыжком вскочил вслед за нею, обхватив её плечи правой рукой и стиснул так, чтобы она не смогла двинуться, и с места рванул флаер в небо.

– Роби! – прошептала Таня. – Что ты делаешь, Роби?!.

Он не смотрел на неё. Он выжимал из флаера всё, что можно. И только краем глаза он увидел внизу поляну, одинокий аэробус и маленькое лицо, с любопытством выглядывающее из водительской кабины.

Дневная жара уже начала спадать, когда последние птерокары, переполненные и перегруженные, сели, ломая шасси, на улицах, прилегающих к площади перед зданием Совета. Теперь на эту обширную площадь собралось почти всё население планеты.

С севера и с юга медленно втянулись в город гремящие колонны уродливых землеройных «кротов» с опознавательными знаками Следопытов и с жёлтыми молниями строителей–энергетиков. Они стали лагерем посередине площади и после стремительного совещания, на котором выступили только два человека – по три минуты вполголоса каждый, – принялись рыть глубокую шахту–убежище. «Кроты» оглушительно загрохотали, взламывая бетон покрытия, а затем один за другим, нелепо выгибаясь, стали уходить в землю. Вокруг шахты быстро выросла кольцевая гора измельчённого грунта, и над площадью возник и повис душный кислородный запах денатурированного базальта.

Физики–нулевики заполнили пустующие этажи театра напротив здания Совета. Весь день они отступали, цепляясь аварийными отрядами «харибд» за каждый наблюдательный пункт, за каждую станцию дальнего контроля, спасая всё, что успевали спасти из оборудования и научной документации, каждую секунду рискуя жизнью, пока категорический приказ Ламондуа и директора не созвал их в Столицу. Их узнавали по возбуждённому, виновато–вызывающему виду, по неестественно оживлённым голосам, по несмешным шуткам со ссылками на специальные обстоятельства и по нервному громкому смеху. Теперь они под руководством Аристотеля и Пагавы отбирали и переснимали на микроплёнку самые ценные материалы для эвакуации с планеты.

Большая группа механиков и метеорологов вышла на окраину города и принялась строить конвейерные цехи для производства небольших ракет. Предполагалось грузить эти ракеты важнейшей документацией и выбрасывать их за пределы атмосферы в качестве искусственных спутников, с тем чтобы позже их подобрали и доставили на Землю. К ракетчикам присоединилась часть аутсайдеров – тех, кто инстинктивно чувствовал себя не в силах ждать сложа руки, и тех, кто действительно мог и желал помочь, и тех, кто искренне верил в необходимость спасения важнейшей документации.

Но на площади, забитой «гепардами», «медузами», «биндюгами», «дилижансами», «кротами», «грифами», осталось ещё очень много людей. Здесь были биологи и планетологи, потерявшие на оставшиеся часы смысл жизни, аутсайдеры – художники и артисты – ошеломлённые неожиданностью, рассерженные, потерявшие, не знающие, что делать, куда идти и кому предъявлять претензии. Какие–то очень выдержанные и спокойные люди неторопливо беседовали на разнообразные темы, собираясь кучками среди машин. И ещё какие–то тихие люди, молча и понуро сидящие в кабинах или жмующиеся к стенам зданий.

Планета опустела. Всё население – каждый человек был вызван, вывезен, выловлен из самых её отдалённых и глухих уголков и доставлен в Столицу. Столица находилась на экваторе, и теперь на всех широтах планеты, северных и южных, было пусто. Лишь несколько человек остались там, заявив, что им всё равно, да где–то над тропическими лесами потерялся аэробус с детьми и воспитателем и тяжёлый «гриф», высланный на его поиски.

Под серебристым шпилем в течение последних часов непрерывно заседал Совет Радуги. Время от времени репродуктор всеобщего оповещения голосом директора или Канэко вызывал по именам самых неожиданных людей. Они бежали к зданию Совета и скрывались за дверью, а затем выбегали, садились в птерокары или флаеры и улетали из города. Многие из тех, кто не был занят делом, провожали их завистливыми взглядами. Неизвестно было, какие вопросы обсуждаются на Совете, но репродукторы всеобщего оповещения уже проревели главное: угроза катастрофы является совершенно реальной; в распоряжении Совета имеется всего один десантный звездолёт малой грузоподъёмности; Детское эвакуировано, и дети размещены в городском парке под наблюдением воспитателей и врачей; лайнер–звездолёт «Стрела» непрерывно поддерживает связь с Радугой и находится на пути к ней, но прибудет не ранее чем через десять часов. Трижды в час дежурный Совет информировал площадь о положении фронтов Волны. Репродуктор гремел: «Внимание,

Радуга! Передаём информацию...» И тогда площадь замолкала, и все жадно слушали, досадливо оглядываясь на шахту, из которой доносился гулкий рокот «кротов». Волна двигалась странно. Её ускорение то увеличивалось – и тогда люди мрачнели и опускали глаза, – то уменьшалось – и тогда лица светлели и появлялись неуверенные улыбки, – но Волна двигалась, горели посевы, вспыхивали леса, пылали оставленные посёлки.

Официальной информации было очень мало – может быть, потому, что некому и некогда было ею заниматься, и, как всегда в таких случаях, основным видом информации становились слухи.

Следопыты и строители всё глубже врывались в землю, и поднимавшиеся из шахты измазанные усталые люди кричали, весело скаля зубы, что им нужно ещё каких-нибудь два-три часа – и они закончат глубокое и достаточно просторное убежище для всех. На них смотрели с некоторой надеждой, и надежда эта подкреплялась упорными слухами о расчёте, якобы произведённом Этьеном Ламондуа, Пагавой и каким-то Патриком. Согласно этому расчёту северная и южная Волна, столкнувшись на экваторе, должны «взаимно энергетически свернуться и деритринитировать», поглотив большое количество энергии. Говорили, что после этого на Радуге должен выпасть слой снега толщиной в полтора метра.

Говорили также, что полчаса тому назад в институте дискретного пространства, слепые белые стены которого мог увидеть с площади любой желающий, удалось, наконец, осуществить успешный нуль-запуск человека к солнечной системе, и даже называли имя пилота, первого в мире нуль-перелётчика, в настоящую минуту якобы благополучно пребывающего на Плутоне.

Рассказывали о сигналах, полученных из-за южной Волны. Сигналы были чрезвычайно сильно искажены помехами, но их удалось дешифровать, и тогда якобы выяснилось, что несколько человек, добровольно оставшихся на одной из энергостанций на пути Волны, выжили и чувствуют себя удовлетворительно, что и свидетельствует о том, что П-волна в отличие от Волн ранее известных типов не представляет реальной опасности для жизни. Называли даже имена счастливцев, и нашлись люди, знавшие их лично. В подтверждение передавали рассказ очевидца о том, как известный Камилл выскочил из Волны на горящем птерокаре и пронёсся мимо чудовищной кометой, что-то крича и размахивая рукой.

Большое распространение получил слух о том, что один старый звездолётчик, работающий сейчас в шахте, сказал якобы примерно следующее: «Командира „Стрелы“ я знаю сто лет. Если он говорит, что будет не раньше чем через десять часов, то это значит, что он будет не позже чем через три часа. И не надо кивать на Совет. Там сидят дилетанты, представления не имеющие о том, что такое современный звездолёт и на что он способен в опытных руках».

Мир вдруг потерял простоту и ясность. Стало трудно отделять правду от неправды. Самый честный человек, знакомый вам с детства, мог с лёгким сердцем солгать вам только для того, чтобы вас поддержать и успокоить, а через двадцать минут вы видели его уже согнувшимся в тоске под тяжестью нелепого слуха о том, что Волна, мол, хотя и не опасна для жизни, но необратимо уродует психику, отбрасывая её на уровень пещерной.

Люди на площади видели, как в здание Совета вошла высокая большая женщина с заплаканным лицом, ведущая за руку мальчика лет пяти в красных штанишках. Многие узнали её – это была Женя Вязаницына, жена директора Радуги. Она вышла очень скоро в сопровождении Канэко, который вежливо, но твёрдо вёл её под локоть. Она больше не плакала, но на лице её была такая свирепая решимость, что люди испуганно сторонились, уступая ей дорогу. Мальчик спокойно грыз пряник.

Тем, кто был занят, было много лучше. Поэтому большая группа художников, писателей и артистов, проспоров до хрипоты, приняла, наконец, окончательное решение и двинулась к окраине города к ракетчикам. Вряд ли они могли чем-нибудь серьёзно помочь, но они были уверены, что им найдут дело. Некоторые спустились в шахту, где велись уже горизонтальные выработки. А несколько опытных пилотов сели в птерокары и умчались к северу и к югу, чтобы присоединиться к наблюдателям Совета, уже несколько часов

играющим в пятнашки со смертью.

Оставшиеся видели, как перед подъездом Совета опустился опалённый, весь в пятнах и вмятинах флаер. Из него с трудом вылезли двое, постояли на трясущихся ногах и двинулись к дверям, поддерживая друг друга. Лица их были жёлтые и опухшие, и в них только с трудом признали молодого физика Карла Гофмана и испытателя–нулевика Тимоти Сойера, известного искусством игры на банджо. Сойер только мотал головой и мычал, а Гофман, некоторое время посипев горлом, невнятно рассказал, что они только что пытались перепрыгнуть через Волну, подошли к ней на расстояние двадцати километров, но тут у Тима стало плохо с глазами, и они были вынуждены вернуться. Оказалось, что в Совете была выдвинута идея переброски населения на ту сторону Волны. Сойер и Гофман были разведчиками. И сейчас же кто–то рассказал, что двое Следопытов пытались поднырнуть под Волну в открытом море на исследовательском батискафе, но пока ещё не вернулись, и ничего о них не известно.

К этому времени на площади осталось человек двести – меньше половины взрослого населения Радуги. Люди старались держаться группами. Они неторопливо переговаривались между собой, не отрывая глаз от окон Совета. На площади становилось тихо: «кроты» ушли глубоко, и рёв их был едва слышен. Разговоры велись невесёлые.

– Опять у меня испорчен отпуск. На этот раз, кажется, надолго.

– Убежище, подземелье... подполье... Снова наступает чёрная стена, и люди уходят в подполье.

– Жаль, что нет никакого настроения писать. Вы посмотрите, как красиво здание Совета. Какая цветовая глубина. Я бы с огромным удовольствием его написал... И передал бы это настроение напряжённости и ожидания, но... Не могу. Тошно.

– Странно всё–таки. Кажется, мы выбирали не тайный Совет. Типично жреческие замашки. Запереться в кабинете и обсуждать там судьбы планеты... Мне в конце концов не так уж и важно, о чём они там говорят, но это же неприлично...

– Мне очень не нравится Ананьев. Полюбуйтесь, вот уже два часа он сидит один, ни с кем не разговаривает и только всё время точит ножичек... Пойду с ним поговорю. Пойдёмте со мной, хотите?

– Аодзора сгорела... Моя Аодзора. Я её строил. Теперь опять строить. А потом они её опять сожгут.

– Мне их жалко. Вот мы с тобой сидим вдвоём, и, честное слово, ничего я не боюсь! А Матвей Сергеевич не может даже в последние часы побыть с женой. Нелепо всё это. Зачем?

– Я сижу здесь и болтаю, потому что считаю: единственная возможность – это звездолёт. А всё остальное – это пшик, барахтанье, самодеятельность.

– Почему я сюда прилетел? Чем плохо мне было на Земле? Радуга, Радуга, как ты нас обидела...

В это время репродуктор всеобщего оповещения проревел:

– Внимание, Радуга! Говорит Совет! Созывается общее собрание населения планеты! Собрание состоится на площади Совета и начнётся через пятнадцать минут. Повторяю...

* * *

Пробираясь через толпу к зданию Совета, Горбовский обнаружил, что пользуется необычайной популярностью. Перед ним расступались, на него показывали глазами и даже пальцами, с ним здоровались, его спрашивали: «Ну как там, Леонид Андреевич?» – И за его спиной вполголоса произносили его фамилию, названия звёзд и планет, с которыми он имел дело, а также названия кораблей, которыми он командовал. Горбовский, давно уже отвыкший от такой популярности, раскланивался, делал рукой салют, улыбался, отвечал: «Да пока всё в порядке», – и думал: «Пусть теперь мне кто–нибудь скажет, что широкие массы больше не интересуются звездоплаванием». Одновременно он почти физически ощущал страшное нервное напряжение, царившее на площади. Это было чем–то похоже на

последние минуты перед очень трудным и ответственным экзаменом. Напряжение это передалось и ему. Улыбаясь и отшучиваясь, он пытался определить настроение и коллективную мысль этой толпы и гадал, что они скажут, когда он объявит своё решение. Верю в вас, настойчиво думал он. Верю, верю во что бы то ни стало. Верю в вас, испуганные, насторожённые, разочарованные, фанатики. Люди.

У самой двери его нагнал и остановил незнакомый человек в спецкостюме для шахтных работ.

– Леонид Андреевич, – сказал он, озабоченно улыбаясь. – Минуточку. Буквально одну минуточку.

– Пожалуйста, пожалуйста, – сказал Горбовский.

Человек торопливо рылся в карманах.

– Когда прибудете на Землю, – говорил он, – не откажите в любезности... Куда же оно запропастилось?... Не думаю, чтобы это вас очень затруднило. Ага, вот оно... – он вынул сложенный вдвое конверт. – Адрес тут есть, печатными буквами... Не откажитесь переслать.

Горбовский покивал.

– Я даже по-письменному могу, – сказал он ласково и взял конверт.

– Почерк отвратительный. Сам себя читать не могу, а сейчас писал в спешке... – Он помолчал, затем протянул руку. – Счастливого пути! Заранее спасибо вам.

– Как ваша шахта? – спросил Горбовский.

– Отлично, – ответил человек. – Не беспокойтесь за нас.

Горбовский вошёл в здание Совета и стал подниматься по лестнице, обдумывая первую фразу своего обращения к Совету. Фраза никак не получалась. Он не успел подняться на второй этаж, когда увидел, что члены Совета спускаются ему навстречу. Впереди, ведя пальцем по перилам, легко ступал Ламондуа, совершенно спокойный и даже какой-то рассеянный. При виде Горбовского он улыбнулся странной, растерянной улыбкой и сейчас же отвёл глаза. Горбовский посторонился. За Ламондуа шёл директор, багровый и свирепый. Он буркнул: «Ты готов?» – и, не дожидаясь ответа, прошёл мимо. Следом прошли остальные члены Совета, которых Горбовский не знал. Они громко и оживлённо обсуждали вопрос об устройстве входа в подземное убежище, и в громкости этой и в их оживлении отчётливо чувствовалось фальшь, и было видно, что мысли их заняты совсем другим. А последним – на некотором расстоянии от всех – спускался Станислав Пишта, такой же широкий, дочерна загорелый и пышноволосый, как двадцать пять лет назад, когда он командовал «Подсолнечником» и вместе с Горбовским штурмовал Слепое Пятно.

– Ба! – сказал Горбовский.

– О! – сказал Станислав Пишта.

– Ты что здесь делаешь?

– Ругаюсь с физиками.

– Молодец, – сказал Горбовский. – Я тоже буду. А пока скажи, кто здесь заведует детской колонией?

– Я, – ответил Пишта.

Горбовский недоверчиво посмотрел на него.

– Я, я! – Пишта усмехнулся. – Не похоже? Сейчас ты убедишься. На площади. Когда начнётся свара. Уверяю тебя, это будет совершенно непедagogичное зрелище.

Они стали медленно спускаться к выходу.

– Свара пусть, – сказал Горбовский. – Это тебя не касается. Где дети?

– В парке.

– Очень хорошо. Отправляйся туда и немедленно – слышишь? – немедленно начинай погрузку детей на «Таризель». Там тебя ждут Марк и Перси. Ясли мы уже погрузили. Ступай быстро.

– Ты молодец, – сказал Пишта.

– А как же, – сказал Горбовский. – А теперь беги.

Пишта хлопнул его по плечу и вперевалку побежал вниз. Горбовский вышел вслед за

ним. Он увидел сотни лиц, обращённых к нему, и услышал грохочущий голос Матвея, говорившего в мегафон:

– ...и фактически мы решаем сейчас вопрос, что является самым ценным для человечества и для нас, как части человечества. Первым будет говорить заведующий детской колонией товарищ Станислав Пишта.

– Он ушёл, – сказал Горбовский.

Директор оглянулся.

– Как ушёл? – спросил он шёпотом. – Куда?

На площади было очень тихо.

– Тогда разрешите мне, – сказал Ламондуа. Он взялся за мегафон.

Горбовский видел, как его тонкие белые пальцы плотно легли на судорожно стиснутые толстые пальцы Матвея. Директор отдал мегафон не сразу.

– Мы все знаем, что такое Радуга, – начал Ламондуа. – Радуга – это планета, колонизированная наукой и предназначенная для проведения физических экспериментов. Результата этих экспериментов ждёт всё человечество. Каждый, кто приезжает на Радугу и живёт здесь, знает, куда он приехал и где он живёт. – Ламондуа говорил резко и уверенно, он был очень хорош сейчас – бледный, прямой, напряжённый как струна. – Мы все солдаты науки. Мы отдали науке всю свою жизнь. Мы отдали ей всю нашу любовь и всё лучшее, что у нас есть. И то, что мы создали, принадлежит, по сути дела, уже не нам. Оно принадлежит науке и всем двадцати миллиардам землян, разбросанным по Вселенной. Разговоры на моральные темы всегда очень трудны и неприятны. И слишком часто разуму и логике мешает в этих разговорах наше чисто эмоциональное «хочу» и «не хочу», «нравится» и «не нравится». Но существует объективный закон, движущий человеческое общество. Он не зависит от наших эмоций. И он гласит: человечество должно познавать. Это самое главное для нас – борьба знания против незнания. И если мы хотим, чтобы наши действия не казались нелепыми в свете этого закона, мы должны следовать ему, даже если нам приходится для этого отступать от некоторых врождённых или заданных нам воспитанием идей. – Ламондуа помолчал и расстегнул воротник рубашки. – Самое ценное на Радуге – это наш труд. Мы тридцать лет изучали дискретное пространство. Мы собрали здесь лучших нуль–физиков Земли. Идеи, порождённые нашим трудом, до сих пор ещё находятся в стадии освоения, настолько они глубоки, перспективны и, как правило, парадоксальны. Я не ошибусь, если скажу, что только здесь, на Радуге, существуют люди – носители нового понимания пространства и что только на Радуге есть экспериментальный материал, который послужит для теоретической разработки этого понимания. Но даже мы, специалисты, неспособны сейчас сказать, какую гигантскую, необозримую власть над миром принесёт человечеству наша новая теория. Не на тридцать лет – на сто, двести... триста лет будет отброшена наука.

Ламондуа остановился, лицо его пошло красными пятнами, плечи поникли. Мёртвая тишина стояла над городом.

– Очень хочется жить, – сказал вдруг Ламондуа. – И дети... У меня их двое, мальчик и девочка; они там, в парке... Не знаю. Решайте.

Он опустил мегафон и остался стоять перед толпой весь обмякший, постаревший и жалкий.

Толпа молчала. Молчали нуль–физики, стоявшие в первых рядах, несчастные носители нового понимания пространства, единственные на всю вселенную. Молчали художники, писатели и артисты, хорошо знавшие, что такое тридцатилетний труд, и слишком хорошо знавшие, что никакой шедевр неповторим. Молчали на горах выброшенной породы строители, тридцать лет работавшие бок о бок с нулевиками и для нулевиков. Молчали члены Совета – люди, которых считали самыми умными, самыми знающими, самыми добрыми и от которых в первую очередь зависело то, что должно было произойти.

Горбовский видел сотни лиц, молодых и старых, мужских и женских, и все они казались сейчас ему одинаковыми, необыкновенно похожими на лицо Ламондуа. Он

отчётливо представлял себе, что они думают. Очень хочется жить: молодому – потому что он так мало прожил, старому – потому что так мало осталось жить. С этой мыслью ещё можно справиться: усилие воли – и она загнана в глубину и убрана с дороги. Кто не может этого, тот больше ни о чём не думает, и вся его энергия направлена на то, чтобы не выдать смертельный ужас. А остальные... Очень жалко труда. Очень жалко, невыносимо жалко детей. Даже не то чтобы жалко – здесь много людей, которые к детям равнодушны, но кажется подлым думать о чём-нибудь другом. И надо решать. Ох, до чего же это трудно – решать! Надо выбрать и сказать вслух, громко, что ты выбрал. И тем самым взять на себя гигантскую ответственность, совершенно непривычную по тяжести ответственность перед самим собой, чтобы оставшиеся три часа жизни чувствовать себя человеком, не корчиться от непереносимого стыда и не тратить последний вздох на выкрик «Дурак! Подлец!», обращённый к самому себе. Милосердие, подумал Горбовский.

Он подошёл к Ламондуа и взял у него мегафон. Кажется, Ламондуа этого даже не заметил.

– Видите ли, – проникновенно сказал Горбовский в мегафон, – боюсь, что здесь какое-то недоразумение. Товарищ Ламондуа предлагает вам решать. Но понимаете ли, решать, собственно, нечего. Всё уже решено. Ясли и матери с новорождёнными уже на звездолёте. (Толпа шумно вздохнула). Остальные ребяташки грузятся сейчас. Я думаю, все поместятся. Даже не думаю, уверен. Вы уж простите меня, но я решил самостоятельно. У меня есть на это право. У меня есть даже право решительно пресекать все попытки помешать мне выполнить это решение. Но это право, по-моему, ни к чему. В общем-то товарищ Ламондуа высказал интересные мысли. Я бы с удовольствием с ним поспорил, но мне надо идти. Товарищи родители, вход на космодром совершенно свободный. Правда, простите, на борт звездолёта подниматься не надо.

– Вот и всё, – громко сказал кто-то в толпе. – И правильно. Шахтёры, за мной!

Толпа зашумела и задвигалась. Взлетело несколько птерокаров.

– Из чего надо исходить? – сказал Горбовский. – Самое ценное, что у нас есть, – это будущее...

– У нас его нет, – сказал в толпе суровый голос.

– Наоборот, есть! Наше будущее – это дети. Не правда ли, очень свежая мысль! И вообще нужно быть справедливыми. Жизнь прекрасна, и мы все уже знаем это. А детишки ещё не знают. Одной любви им сколько предстоит! Я уж не говорю о нуль-проблемах. (В толпе зааплодировали). А теперь я пошёл.

Горбовский сунул мегафон одному из членов Совета и подошёл к Матвею. Матвей несколько раз крепко ударил его по спине. Они смотрели на тающую толпу, на оживившиеся лица, сразу ставшие очень разными, и Горбовский пробормотал со вздохом:

– Забавно, однако. Вот мы совершенствуемся, совершенствуемся, становимся лучше, умнее, добрее, а до чего всё-таки приятно, когда кто-нибудь принимает за тебя решение...

9

«Тариэль-Второй», десантный сигма-Д-звездолёт, создавался для переброски на большие расстояния небольших групп исследователей с минимальным комплектом лабораторного оборудования. Он был очень хорош для высадки на планеты с бешеными атмосферами, обладал огромным запасом хода, был прочен, надёжен и на девяносто пять процентов состоял из энергетических ёмкостей. Разумеется, на корабле был жилой отсек из пяти крошечных кают, крошечной кают-компания, миниатюрного камбуза и вместительной рубки, сплошь заставленной пультами приборов управления и контроля. Был на корабле и грузовой отсек – довольно обширное помещение с голыми стенами и низким потолком, лишённое принудительного кондиционирования, пригодное (в самом крайнем случае) для устройства походной лаборатории. Нормально «Тариэль-Второй» принимал на борт до десяти человек, считая с экипажем.

Детей грузили через оба люка: младших – через пассажирский, старших – через грузовой. Возле люков толпились люди, и их было гораздо больше, чем ожидал Горбовский. С первого же взгляда было видно, что здесь не только воспитатели и родители. Поодаль громоздились ящики с нерозданными ульмотронами и с оборудованием для Следопытов Лаланды. Взрослые были молчаливы, но у корабля стоял непривычный шум: писк, смех, тонкоголосое нестройное пение – тот гомон, который во все времена был так характерен для интернатов, детских площадок и амбулаторий. Знакомых лиц видно не было, только в стороне Горбовский узнал Алю Постышеву. Да и она была совсем другая – поникшая и грустная, одетая очень изящно и аккуратно. Она сидела на пустом ящике, положив руки на колени, и смотрела на корабль. Она ждала.

Горбовский вылез из птерокара и направился к звездолёту. Когда он проходил мимо Али, она жалостно улыбнулась ему и сказала: «А я Марка жду». «Да–да, он скоро выйдет», – ласково сказал Горбовский и пошёл дальше. Но его сразу остановили, и он понял, что добраться до люка будет не так просто.

Крупный бородатый человек в панаме преградил ему дорогу.

– Товарищ Горбовский, – сказал он. – Я вас прошу, возьмите.

Он протянул Горбовскому длинный тяжёлый свёрток.

– Что это? – спросил Горбовский.

– Моя последняя картина. Я Иоганн Сурд.

– Иоганн Сурд, – повторил Горбовский. – Я не знал, что вы здесь.

– Возьмите. Она весит совсем немного. Это лучшее, что я сделал в жизни. Я привозил её сюда на выставку. Это «Ветер»...

У Горбовского всё сжалось внутри.

– Давайте, – сказал он и бережно принял свёрток.

Сурд поклонился.

– Спасибо, Горбовский, – сказал он и исчез в толпе.

Кто–то крепко и больно схватил Горбовского за руку. Он обернулся и увидел молоденькую женщину. У неё дрожали губы и лицо было мокрое от слёз.

– Вы капитан? – спросила она надорванным голосом.

– Да, да. Я капитан.

Она ещё сильнее стиснула его руку.

– Там мой мальчик... На корабле... – губы начали кривиться. – Я боюсь...

Горбовский сделал удивлённое лицо.

– Но чего же? Там он в полной безопасности.

– Вы уверены? Вы обещаете мне?...

– Он там в полной безопасности, – повторил Горбовский решительно. – Это очень хороший корабль!

– Столько детей, – сказала она, всхлипывая. – Столько детей!...

Она отпустила его руку и отвернулась. Горбовский, потоптавшись в нерешительности, пошёл дальше, загораживая руками и боками шедевр Сурда, но его тут же схватили с обеих сторон под локти.

– Это весит всего три кило, – сказал бледный угловатый мужчина. – Я никогда никого ни о чём не просил...

– Вижу, – согласился Горбовский. Это действительно было заметно.

– Здесь отчёт о наблюдениях Волны за десять лет. Шесть миллионов фотокопий.

– Это очень важно! – подтвердил второй человек, державший Горбовского за левый локоть. У него были толстые, добрые губы, небритые щёки и маленькие умоляющие глазки. – Понимаете, это Маляев... – он указал пальцем на первого. – Вы непременно должны взять эту папку...

– Помолчите, Патрик, – сказал Маляев. – Леонид Андреевич, поймите... Чтобы это больше не повторилось... Чтобы больше никогда, – он задохнулся, – чтобы больше никто и никогда не ставил перед нами этот позорный выбор...

– Несите за мной, – сказал Горбовский. – У меня заняты руки.

Они отпустили его, и он сделал шаг вперёд, но ударился коленом о большой, закутанный в брезент предмет, который с явным трудом держали на весу двое юношей в одинаковых синих беретах.

– Может, возьмёте? – пропыхтел один.

– Если можно... – сказал другой.

– Мы два года её строили...

– Пожалуйста.

Горбовский покачал головой и стал их осторожно обходить.

– Леонид Андреевич, – жалобно сказал первый. – Мы вас умоляем.

Горбовский снова покачал головой.

– Не унижайся, – сказал второй сердито. Он вдруг отпустил свой угол, и закутанный предмет с треском ударился о землю. – Ну что ты держишь?

Он с неожиданной яростью пнул свой аппарат ногой и, сильно прихрамывая, пошёл прочь.

– Володька! – крикнул первый с тревогой ему вслед. – Не сходи с ума!

Горбовский отвернулся.

– Скульпторам, конечно, надеяться не на что, – сказал над его ухом вкрадчивый голос.

Горбовский только помотал головой: говорить он не мог. За его спиной, наступая ему на пятки, хрипло дышал Маляев.

Ещё группа каких-то людей с рулонами, свёртками и пакетами в руках разом стронулась с места и пошла рядом.

– Может быть, имеет смысл сделать так... – нервно и отрывисто заговорил один из них. – Может быть, всё... Сложить всё у грузового люка... Мы понимаем, что шансов мало... Но вдруг всё-таки останутся места... В конце концов это не люди, это вещи... Рассовать их где-нибудь... как-нибудь...

– Да... да... – сказал Горбовский. – Я вас прошу, займитесь этим. – Он приостановился и переложил шедевр на другое плечо. – Сообщите об этом всем. Пусть сложат у грузового люка. Шагах в десяти и в стороне. Хорошо?

В толпе произошло движение, стало не так тесно. Люди с рулонами и свёртками начали расходиться, и Горбовский выбрался, наконец, на свободное пространство возле пассажирского люка, где малыши, выстроенные парами, ждали очереди попасть в руки Перси Диксона.

Карапузы в разноцветных курточках, штанишках и шапочках пребывали в состоянии радостного возбуждения, вызванного перспективой всамделишного звёздного перелёта. Они были очень заняты друг другом и голубоватой громадой корабля и одаривали толпившихся вокруг родителей разве что рассеянными взглядами. Им было не до родителей. В круглом отверстии люка стоял Перси Диксон, облачённый в стариннейшую, давно забытую парадную форму звездолётчика, тяжёлую и душную, с наспех посеребрёнными пуговицами, со значками и ослепительными позументами. Пот градом катился по его волосатому лицу, и время от времени он взрывал морским голосом: «По бим-бом-брамселям! По местам стоять, с якоря сниматься!» Это было очень весело, и восторженные мальки не спускали с него замороженных глаз. Тут же были двое воспитателей: мужчина держал в руке списки, а женщина очень весело пела с ребятишками песенку о храбром носороге. Ребятишки, не отрывая глаз от Диксона, подпевали с большим азартом, и каждый тянул своё.

Горбовский подумал, что если вот так стоять спиной к толпе, то можно подумать, будто действительно добрый дядя Перси организовал для дошкольников весёлый облёт Радуги на настоящем звездолёте. Но тут Диксон поднял на руки очередного малыша и, обернувшись, передал его кому-то в тамбуре, и тогда за спиной Горбовского женский голос истерически закричал: «Толик мой! Толик...» И Горбовский оглянулся и увидел бледное лицо Маляева, и напряжённые лица отцов, и лица матерей, улыбающиеся жалкими, кривыми улыбками, и слёзы на глазах, и закушенные губы, и отчаяние, и бьющуюся в истерике женщину, которую

поспешно уводил, обняв за плечи, человек в комбинезоне, испачканном землёй. И кто-то отвернулся, и кто-то согнулся и торопливо побрёл прочь, натываясь на встречных, а кто-то просто лёг на бетон и стиснул голову руками.

Горбовский увидел Женю Вязаницыну, пополневшую и похорошевшую, с огромными сухими глазами и решительно сжатым ртом. Она держала за руку толстого спокойного мальчика в красных штанишках. Мальчик жевал яблоко и во все глаза глядел на блестящего Перси Диксона.

– Здравствуй, Леонид, – сказала она.

– Здравствуй, Женечка, – сказал Горбовский.

Маляев и Патрик отошли в сторону.

– Какой ты худой, – сказала она. – Всё такой же худой. И даже ещё больше высох.

– А ты похорошела.

– Я не очень отрываю тебя?

– Да нет, всё идёт, как должно идти. Мне только нужно осмотреть корабль. Я очень боюсь, что у нас всё-таки не хватит места.

– Очень плохо одной. Матвей занят, занят, занят... Иногда мне кажется, что ему абсолютно всё равно.

– Ему очень не всё равно, – сказал Горбовский. – Я разговаривал с ним. Я знаю: ему очень не всё равно... Но он ничего не может сделать. Все дети на Радуге – это его дети. Он не может иначе.

Она слабо махнула свободной рукой.

– Я не знаю, что делать с Алёшкой, – сказала она. – Он у нас совсем домашний. Он даже в детском саду никогда не был.

– Он привыкнет. Дети очень быстро ко всему привыкают, Женечка. И ты не бойся: ему будет хорошо.

– Я даже не знаю, к кому обратиться.

– Все воспитатели хороши. Ты же знаешь это. Все одинаковы. Алёшке будет хорошо.

– Ты меня не понимаешь. Ведь его даже нет ни в каких списках.

– И чего же тут страшного? Есть он в списках или нет, ни один ребёнок не останется на Радуге. Списки только для того, чтобы не растерять детей. Хочешь, я пойду и скажу, чтобы его записали?

– Да, – сказала она. – Нет... Подожди. Можно я поднимусь вместе с ним на корабль?

Горбовский печально покачал головой.

– Женечка, – мягко сказал он. – Не надо. Не надо беспокоить детей.

– Я никого не буду беспокоить. Я только хочу посмотреть, как ему там будет... Кто будет рядом...

– Такие же ребяташки. Весёлые и добрые.

– Можно я поднимусь с ним?

– Не надо, Женечка.

– Надо. Очень надо. Он не сможет один. Как он будет жить без меня? Ты ничего не понимаешь. Все вы совершенно ничего не понимаете. Я буду делать всё, что нужно. Любую работу. Я ведь всё умею. Не будь таким бесчувственным...

– Женечка, посмотри вокруг. Это матери.

– Он не такой, как все. Он слабый. Капризный. Он привык к постоянному вниманию. Он не сможет без меня. Не сможет! Ведь я-то знаю это лучше всех! Неужели ты воспользуешься тем, что мне некому на тебя жаловаться?

– Неужели ты займёшь место ребёнка, который должен будет остаться здесь?

– Никто не останется, – сказала она страстно. – Я уверена, что никто! Все поместятся! А мне ведь совсем не надо места! Есть же у вас какие-нибудь машинные помещения, какие-нибудь камеры... Я должна быть с ним!

– Я ничего не могу сделать для тебя. Прости.

– Можешь! Ты капитан. Ты всё можешь. Ты же всегда был добрым человеком, Лёня!

– Я и сейчас добрый. Ты себе представить не можешь, какой я добрый.
– Я не отойду от тебя, – сказала она и замолчала.
– Хорошо, – сказал Горбовский. – Только давай сделаем так. Сейчас я отведу в корабль Алёшку, осмотрю помещения и вернусь к тебе. Хорошо?

Она пристально глядела ему в глаза.

– Ты не обманешь меня. Я знаю. Я верю. Ты никогда никого не обманывал.

– Я не обману. Когда корабль стартует, ты будешь рядом со мной. Давай мальчика.

Не отрывая глаз от его лица, она как во сне подтолкнула к нему Алёшку.

– Иди, иди, Алик, – сказала она. – Иди с дядей Лёней.

– Куда? – спросил мальчик.

– В корабль, – сказал Горбовский, беря его за руку. – Куда же ещё? Вот в этот корабль.

Вон к тому дяде. Хочешь?

– Хочу к тому дяде, – заявил мальчик. На мать он больше не смотрел.

Они вместе подошли к трапу, по которому поднимались последние ребяташки. Горбовский сказал воспитателю:

– Внесите в список. Алексей Матвеевич Вязаницын.

Воспитатель посмотрел на мальчика, затем на Горбовского и кивнул, записывая. Горбовский медленно поднялся по трапу, перетащил Алексея Матвеевича через высокий комингс, подняв за руку.

– Это называется тамбур, – сказал он.

Мальчик подёргал руку, освободился и, подойдя вплотную к Перси Диксону, стал его рассматривать. Горбовский снял с плеча и поставил в угол картину Сурда. Что ещё? – подумал он. – Да! Он вернулся к люку и, высунувшись, принял от Маляева папку.

– Спасибо, – сказал Маляев, улыбаясь. – Не забыли... Спокойной плазмы.

Патрик тоже улыбался. Кивая, они попятились к толпе. Женя стояла под самым люком, и Горбовский помахал ей рукой. Потом он повернулся к Диксону.

– Жарко? – спросил он.

– Ужасно. Сейчас бы душ принять. А в душевых дети.

– Освободите душевые, – сказал Горбовский.

– Легко сказать, – Диксон тяжело вздохнул и, скривившись, оттянул тесный воротник мундира. – Борода лезет под воротник, – пробормотал он. – Колется невыносимо. Всё тело зудит.

– Дядя, – сказал мальчик Алёша. – А у тебя борода настоящая?

– Можешь подёргать, – сказал Перси со вздохом и нагнулся.

Мальчик подёргал.

– Всё равно ненастоящая, – заявил он.

Горбовский взял его за плечо, но Алёша вывернулся.

– Не хочу с тобой, – сказал он. – Хочу с капитаном.

– Вот и хорошо, – сказал Горбовский. – Перси, отведите его к воспитателю.

Он шагнул к двери в коридор.

– Не упадите в обморок, – сказал Диксон вслед.

Горбовский откатил дверь. Да, такого в корабле ещё не бывало. Визг, смех, свист, щебет, воркование, воинственные клики, стук, звон, топот, скрип металла о металл, мяукающие вопли младенцев... Неповторимые запахи молока, мёда, лекарств, разгорячённых детских тел, мыла – несмотря на кондиционирование, несмотря на непрерывную работу аварийных вентиляторов... Горбовский пошёл по коридору, выбирая место, куда ступить, опасливо заглядывая в распахнутые двери, где прыгали, плясали, баюкали кукол, целились из ружей, набрасывали лассо, толклись в невообразимой тесноте, сидели и ползали на откинутых койках, на столах, под столами, под койками четыре десятка мальчиков и девочек в возрасте от двух до шести лет. Из каюты в каюту бегали озабоченные воспитатели. В кают-компаниях, из которой была выброшена почти вся мебель, молодые матери кормили и пеленали новорождённых, и тут же были ясли – пятеро ползунков,

переговариваясь на птичьем языке, бродили на четвереньках в отгороженном углу. Горбовский представил себе всё это в состоянии невесомости, зажмурился и прошёл в рубку.

Горбовский не узнал рубки. Здесь было пусто. Исчез громадный контроль-комбайн, занимавший треть помещения. Исчез пульт управления, исчезло кресло пилота-дублёра. Исчез пульт обзорного экрана. Исчезло кресло перед вычислителем. А сам вычислитель, наполовину разобранный, блестел обнажившимися блок-схемами. Корабль перестал быть звездолётом. Он превратился в самоходную межпланетную баржу, сохранившую хороший ход, но годную только для перелётов по инерциальным траекториям.

Горбовский сунул руки в карманы. Диксон сопел у него над ухом.

– Так-так, – сказал Горбовский. – А где Валькенштейн?

– Здесь. – Валькенштейн высунулся из недр вычислителя. Он был мрачен и очень решителен.

– Молодец, Марк, – сказал Горбовский. – И вы молодец, Перси. Спасибо!

– Вас уже три раза спрашивал Пишта, – сказал Марк и снова скрылся в вычислителе. – Он у грузового люка.

Горбовский пересёк рубку и вышел в грузовой отсек. Ему стало жутко. Здесь в длинном и узком помещении, слабо освещённом двумя газосветными лампами, стояли, плотно прижавшись друг к другу, мальчики и девочки школьники – от первоклассников до старших классов. Они стояли молча, почти не шевелясь, только переступая с ноги на ногу, и смотрели в распахнутый люк, где виднелось голубое небо да плоская белая крыша далёкого пакгауза. Несколько секунд Горбовский, покусывая губу, смотрел на детей.

– Первоклассников перевести в коридор, – сказал он. – Второй и третий классы – в рубку. Сейчас же.

– И это ещё не всё, – тихо сказал Диксон. – Десять человек застряли где-то на пути из Детского... Впрочем, кажется, они погибли. Группа старшекласников отказывается грузиться. И есть ещё группа детей аутсайдеров, которые только сейчас прибыли. Впрочем, сами увидите.

– Вы всё-таки сделайте, как я сказал, – предложил Горбовский. – Первые три класса – в коридор и в рубку. А сюда – свет, экран, показывайте фильмы. Исторические фильмы. Пусть смотрят, как бывало раньше. Действуйте, Перси. И ещё – составьте из ребят цепочку до Валькенштейна, пусть по конвейеру передают детали, это их немного займёт.

Он с трудом протиснулся к люку и сбегал вниз. У подножья трапа, окружённая воспитателями, стояла большая группа ребятишек разного возраста. Слева беспорядочной грудой было свалено всё самое драгоценное из предметов материальной культуры Радуги: связки документов, папки, машины и модели машин, закутанные в материю скульптуры, свёртки холстов. А справа, шагах в двадцати, стояли угрюмые юноши и девушки пятнадцати-шестнадцати лет, и перед ними, заложив руки за спину, нагнув голову, расхаживал очень серьёзный Станислав Пишта. Негромко, но внятно он говорил:

– ...Считайте, что это экзамен. Поменьше думайте о себе и побольше о других. Ну и что же, что вам стыдно? Возьмите себя в руки, пересильте это чувство!

Старшекласники упрямо молчали. И подавленно молчали взрослые, струдившиеся перед грузовым люком. Некоторые ребята украдкой оглядывались, и было видно, что они не прочь удрать, но бежать было невозможно – вокруг стояли их отцы и матери. Горбовский посмотрел на люк. Даже отсюда было видно, что корабль набит битком. В широком, как ворота, люке тесной шеренгой стояли дети. Лица у них были недетские – слишком серьёзные и слишком печальные.

К Горбовскому как-то боком придвинулся огромный, очень красивый молодой человек с тоскливыми просящими глазами, безобразно не соответствующими всему его облику.

– Одно слово, капитан, – проговорил он дрожащим голосом. – Одно только слово...

– Минутку, – сказал Горбовский.

Он подошёл к Пиште и обнял его за плечи.

– Места хватит всем, – говорил Пишта. – Пусть это вас не беспокоит...

– Станислав, – сказал Горбовский, – распорядись грузить оставшихся.
– Там нет мест, – очень непоследовательно возразил Пишта. – Мы ждали тебя. Хорошо бы очистить резервную Д–камеру.

– На «Таризле» нет резервных Д–камер. Но место сейчас будет. Распоряжайся. Горбовский остался лицом к лицу со старшекласниками.

– Мы не хотим лететь, – сообщил один из них, белобрысый рослый парнишка с яркими зелёными глазами. – Лететь должны воспитатели.

– Правильно! – сказала маленькая девушка в спортивных брюках. Позади голос Перси Диксона крикнул:

– Бросайте! Прямо на землю!

Из люка посыпались звонкие пластины блок–схем. Конвейер заработал.

– Вот что, мальчики и девочки, – сказал Горбовский. – Во–первых, у вас ещё нет права голоса, потому что вы ещё не кончили школу. И во–вторых, нужно иметь совесть. Правда, вы ещё молоды и рвётесь на геройские подвиги, но дело–то в том, что здесь вы не нужны, а в корабле нужны. Мне страшно подумать, что там будет в инерционном полёте. Нужно по два старших на каждую каюту к дошкольникам, по крайней мере три ловкие девочки для яслей и помогать женщинам с новорождёнными. Короче говоря, вот где от вас требуется подвиг.

– Простите, капитан, – насмешливо сказал зеленоглазый, – но все эти обязанности прекрасно могут выполнить воспитательницы.

– Простите, юноша, – сказал Горбовский, – я полагаю, вам известны права капитана. Как капитан, я вам обещаю, что из воспитателей полетят только два человека. А главное – напрягитесь и попробуйте представить себе, как будут дальше жить ваши воспитатели, если они займут ваши места на корабле. Игры кончились, мальчики и девочки, перед вами жизнь, какой она бывает иногда, к счастью, редко. А теперь простите, я занят. В утешение могу сказать вам только одно: в корабль вы войдёте последними. Всё!

Он повернулся к ним спиной и с размаху наткнулся на молодого человека с тоскливыми глазами.

– Ох, простите, – сказал Горбовский. – Совсем забыл про вас.

– Вы сказали, полетят два воспитателя, – осипшим голосом сказал молодой человек. – Кто?

– Кто вы такой? – спросил Горбовский.

– Я Роберт Скляр. Я физик–нулевик. Но речь не обо мне. Я вам сейчас всё расскажу. Но сначала скажите, кто из воспитателей летит?

– Скляр... Скляр... Удивительно знакомое имя. Где я о нём слышал?

– Камилл, – сказал Скляр, принуждённо улыбаясь.

– А, – сказал Горбовский. – Так вас интересует, кто летит? – он оглядел Склярова. – Хорошо, я вам скажу. Только вам. Летит заведующий и летит главный врач. Они ещё этого не знают.

– Нет, – сказал Скляр, хватая Горбовского за руки. – Ещё один... Ещё одну. Турчина Татьяна. Она воспитатель. Её очень любят. Она опытный воспитатель...

Горбовский освободил руки.

– Нельзя, – сказал он. – Нельзя, милый Роберт! Летят только дети и матери с новорождёнными, понимаете? Только дети и матери с грудными младенцами.

– Она тоже! – сейчас же сказал Скляр. – Она тоже мать! У неё будет ребёнок... мой ребёнок! Спросите у неё... Она тоже мать!

Горбовского сильно толкнули в плечо. Он пошатнулся и увидел, как Скляр испуганно пятится, отступая, а [на] него молча идёт маленькая тонкая женщина, удивительно изящная и стройная, с сильной сединой в золотых волосах и прекрасным, но словно окаменевшим лицом. Горбовский провёл ладонью по лбу и вернулся к трапу.

Теперь здесь оставались только старшекласники и воспитатели. Остальные взрослые – отцы и матери, и те, кто принёс сюда свои творения, и те, кто, видимо, в смутной, неосознанной надежде тянулся к звездолёту, медленно пятились, расступаясь и разбиваясь

на группы. В люке, расставив руки, стоял Станислав Пишта и кричал:

– Потеснитесь чуть–чуть, ребята! Майкл, крикни в рубку, чтобы потеснились! Ещё немного!

Ему отвечали серьёзные детские голоса:

– Некуда больше! Всё очень плотно стоят!

И густой голос Перси Диксона прогудел:

– Как так некуда? А вот сюда за пульт? Не бойся, маленькая, током не ударит, проходи, проходи... И ты тоже... И ты, курносый... Больше жизни! И ты... Так... так...

И холодный, звякающий, как железо, голос Валькенштейна приговаривал:

– Потеснитесь, ребята... дайте пройти... подвинься, девочка... пропусти, мальчик...

Пишта посторонился, и рядом с ним появился Валькенштейн с курткой через плечо.

– Я остаюсь на Радуге, – сказал он. – Вы уж без меня, Леонид Андреевич. – Глаза его шарили по толпе, отыскивая кого–то.

Горбовский кивнул.

– Врач на борту? – спросил он.

– Да, – ответил Марк. – Из взрослых там только врач и Диксон.

Из люка вдруг раздался смех.

– Эх вы! – с натугой говорил голос Диксона. – Вот как надо... Раз–два... Раз–два...

В люке появился Диксон. Он появился над головой Пишты, перевёрнутое лицо его было потным и ярко–малиновым.

– Держите меня, Леонид, – прошипел он. – Я сейчас свалюсь.

Ребята хохотали. Это было действительно очень смешно: толстый бортинженер, как муха, висел на потолке, цепляясь руками и ногами за карабины для крепления груза. Он был тяжёл и горяч; и когда Пишта с Горбовским вытянули его наружу и поставили на ноги, он сказал, тяжело дыша:

– Стар. Стар уже...

Виновато моргая, он поглядел на Горбовского.

– Не могу я там, Леонид. Тесно, душно, жарко... Костюм этот несчастный... Я остаюсь здесь, а вы уж с Марком летите. Да и надоели вы мне, по правде сказать.

– Прощайте, Перси, – сказал Горбовский.

– Прощай, дружок, – сказал Диксон растроганно.

Горбовский засмеялся и похлопал его по позументам.

– Ну что ж, Станислав, – сказал он. – Придётся тебе обойтись без бортинженера. Думаю, обойдёшься. Твоя задача: выйти на орбиту экваториального спутника и ждать «Стрелу». Остальное сделает командир «Стрелы».

Несколько секунд Пишта ошарашенно молчал.

Потом он понял.

– Ты что это, а? – очень тихо сказал он, шаря взглядом по лицу Горбовского. – Ты что это? Ты Десантник! Что это за жесты?

– Жесты? – сказал Горбовский. – Я не умею. А ты иди. Ты за всех них отвечаешь до конца. – Он повернулся к старшекласникам: – Марш на борт! – крикнул он. – Иди вперед, а то не протиснешься, – сказал он Пиште.

Пишта посмотрел на понурых старшекласников, медленно бредущих к трапу, посмотрел на люк, из которого высовывались лица детей, неловко клюнул Горбовского в щёку, кивнул Марку и Диксону и, поднявшись на цыпочки, взялся за карабины. Горбовский подтолкнул его. Старшекласники один за другим с нарочитой важностью и неторопливостью начали протискиваться внутрь, мужественно покрикивая: «А ну, шевелись! Подбери губы, наступят! Кто это там ревёт? Головы выше!» Последней вошла та самая девочка в спортивных брюках. На секунду она остановилась и с надеждой оглянулась на Горбовского, но он сделал каменное лицо.

– Некуда ведь, – сказала она тихонько. – Видите? Я не помещаюсь.

– Ты похудеешь, – пообещал Горбовский и, взяв её за плечи, осторожно втиснул в

толпу. Потом он спросил Диксона: – А где кино?

– Всё рассчитано, – важно ответил Перси. – Кино начнётся в момент старта. Дети любят сюрпризы.

– Пишта! – крикнул Горбовский. – Готов?

– Готов! – гулко откликнулся Пишта.

– Стартуй, Пишта! Спокойной плазмы! Закрывай люки! Мальчики и девочки, спокойной плазмы!

Тяжёлая плита люка бесшумно выдвинулась из паза в обшивке. Горбовский, прощально махая рукой, отступил от комингса. Вдруг он вспомнил.

– Ай! – закричал он. – А письмо?

В нагрудном кармане письма не было, в боковом тоже. Люк закрывался. Письмо почему-то оказалось во внутреннем кармане. Горбовский сунул его девочке в спортивных брюках и поспешно отдернул руку. Люк закрылся. Горбовский, сам не зная зачем, погладил голубоватый металл, ни на кого не глядя, спустился на землю, и Диксон с Марком оттащили трап. Вокруг корабля осталось совсем мало народу, зато над кораблём в небе кружились десятки вертолётов и флаеров.

Горбовский обогнул груды материальных ценностей, споткнулся о какой-то буют и пошёл вокруг корабля к пассажирскому люку, где его должна была ждать Женья Вязаницына. Хоть бы Матвей прилетел, с тоской подумал он. Он чувствовал себя выжатым и высушенным и очень обрадовался, когда увидел Матвея. Матвей шёл ему навстречу. Но он был один.

– А где Женья? – спросил Горбовский.

Матвей остановился и оглянулся по сторонам. Жени нигде не было.

– Она была здесь, – сказал он. – Я говорил с ней по радиофону. Что, люки уже закрыли? – Он всё оглядывался.

– Да, сейчас старт, – сказал Горбовский. Он тоже озирался. Может быть, она на вертолёте, подумал он. Но он знал, что это невозможно.

– Странно, что нет Жени, – проговорил Матвей.

– Возможно, она на вертолёте, – сказал Горбовский. Он вдруг понял, где она. Ай да она, подумал он.

– Алёшку так и не увидел, – сказал Матвей.

Станный широкий звук, похожий на судорожный вздох, пронёсся над космодромом. Огромная голубая громада корабля бесшумно оторвалась от земли и медленно пошла вверх. Первый раз в жизни вижу старт своего корабля, подумал Горбовский. Матвей всё провожал корабль глазами – и вдруг как ужаленный повернулся к Горбовскому и с изумлением уставился на него.

– Постой... – пробормотал он. – Как же это так?... Почему ты здесь? А как же корабль?

– Там Пишта, – сказал Горбовский.

Глаза Матвея остановились.

– Вот она, – прошептал он.

Горбовский обернулся. Над горизонтом ослепительно сияла блестящая ровная полоса.

10

На окраине Столицы Горбовский попросил остановиться. Диксон затормозил и выжидательно посмотрел на него.

– Я пойду пешком, – сказал Горбовский.

Он вылез. Сейчас же вслед за ним вылез Марк и, протянув руку, помог выйти Але Постышевой. Всю дорогу от космодрома эта пара молчала на заднем сиденье. Они крепко, по-детски, держались за руки, и Аля, закрыв глаза, прижималась лицом к плечу Марка.

– Пойдёмте с нами, Перси, – сказал Горбовский. – Будем собирать цветочки, и уже не жарко. И это очень полезно для вашего сердца.

Диксон покачал косматой головой.

– Нет, Леонид, – сказал он. – Давайте лучше попрощаемся. Я поеду.

Солнце висело над самым горизонтом. Было прохладно. Солнце светило словно в коридор с чёрными стенами: обе Волны – северная и южная – уже высоко поднялись над горизонтом.

– Вот по этому коридору, – сказал Диксон. – Куда глаза глядят. Прощайте, Леонид, прощай, Марк. И ты, девочка, прощай. Идите... Но сначала я попытаюсь последний раз предугадать ваши поступки. Сейчас это особенно просто.

– Да, это просто, – сказал Марк. – Прощайте, Перси. Пошли, малыш.

Коротко улыбнувшись, он взглянул на Горбовского, обнял Алю за плечи, и они пошли в степь. Горбовский и Диксон смотрели им вслед.

– Немножко поздно, – сказал Диксон.

– Да, – согласился Горбовский. – И всё–таки я завидую.

– Вы любите завидовать. Вы всегда так аппетитно завидуете, Леонид. Я вот тоже завидую. Завидую, что кто–то будет думать о нём в его последние минуты, а обо мне... да и о вас тоже, Леонид, никто.

– Хотите, я буду думать о вас? – спросил серьёзно Горбовский.

– Нет, не стоит. – Диксон, прищурясь, посмотрел на низкое солнце. – Да, – сказал он. – На этот раз нам, кажется, не выбраться. Прощайте, Леонид!

Он кивнул и уехал, а Горбовский неспешно зашагал по шоссе рядом с другими людьми, так же неторопливо бредущими в город. Ему было очень легко и покойно впервые за этот сумбурный, напряжённый и страшный день. Больше не надо было ни о ком заботиться, не надо было принимать решений, все вокруг были самостоятельны, и он тоже стал совершенно самостоятельным. Таким самостоятельным он ещё не был никогда в жизни.

Вечер был красив, и если бы не чёрные стены справа и слева, медленно растущие в синее небо, он был бы просто прекрасен: тихий, прозрачный, в меру прохладный, пронизанный косыми розовыми лучами солнца. Людей на шоссе оставалось все меньше; многие ушли в степь, как Валькенштейн с Алей, другие остались прямо у обочин.

В городе вдоль главной улицы многоцветными пятнами красовались картины, выставленные художниками в последний раз, – у деревьев, у стен домов, на волноводах поперёк дороги, на столбах энергопередат. Перед картинами стояли люди, вспоминали, тихо радовались, кто–то – неугомонный – затеял спор, а миловидная худенькая женщина горько плакала, повторяя громко: «Обидно... Как обидно!» Горбовский подумал, что где–то видел её, но так и не мог вспомнить – где.

Слышалась незнакомая музыка: в открытом кафе рядом со зданием Совета маленький, хилый человек с необычайной страстью и темпераментом играл на концертной хориоле, и люди за столиками слушали его, не шевелясь; и ещё много людей сидели и слушали на ступеньках и прямо на газонах перед кафе, а к хориоле был прислонён большой лист картона, на котором кривоватыми буквами было написано: «Далёкая Радуга». Песня. Не оконч.».

Вокруг шахты было много народу, и все были заняты. Матово поблёскивал огромный, ещё недостроенный купол входного кессона. Из здания театра тянулась цепочка нуль–физиков, тащивших папки, свёртки, груды коробок. Горбовский сразу подумал о папке, которую ему передал Маляев. Он попытался вспомнить, куда дел её. Кажется, оставил в рубке. Или в тамбуре? Не надо вспоминать. Неважно. Следует быть совершенно беззаботным. Странно, неужели физики ещё надеются? Правда, всегда можно надеяться на чудо. Но забавно, что на чудо теперь надеются самые скептические и логические люди планеты.

У стены Совета, возле подъезда сидел, вытянув ноги, человек в изодранном пилотском комбинезоне, слепой, с забинтованным лицом. На коленях у него лежало блестящее никелированное банджо. Запрокинув голову, слепой слушал песню «Далёкая Радуга».

Из–за купола появился лжештурман Ганс с огромным тюком на плече. Увидев

Горбовского, он заулыбался и сказал на ходу: «А, капитан! Как ваши ульмотроны? Достали? А мы вот архивы хороним. Очень утомительно. День какой-то сумасшедший...» Кажется, это был единственный человек на Радуге, который так и не узнал, что Горбовский настоящий капитан «Гариэля».

Из окна Совета Горбовского окликнул Матвей.

– «Гариэль» уже на орбите! – крикнул он. – Сейчас прощались. Там всё в порядке.

– Спускайся, – предложил Горбовский. – Пойдём вместе.

Матвей покачал головой.

– Нет, дружище, – сказал он. – У меня масса дел, а времени мало... – Он помолчал, затем добавил растерянно: – Женя нашлась, ты знаешь где?

– Догадываюсь, – сказал Горбовский.

– Зачем ты это сделал? – сказал Матвей.

– Честное слово, я ничего не делал, – сказал Горбовский.

Матвей укоризненно покачал головой и скрылся в глубине комнаты, а Горбовский пошёл дальше.

Он вышел на берег моря, на прекрасный жёлтый пляж с пёстрыми тентами и удобными шезлонгами, с катерами и лодками, выстроившимися у невысокого причала. Он опустился в один из шезлонгов, с удовольствием вытянул ноги, сложил руки на животе и стал смотреть на запад, на багровое закатное солнце. Слева и справа нависали бархатно-чёрные стены, он старался не замечать их.

Сейчас я должен был бы стартовать к Лаланде, думал он сквозь дремоту. Мы сидели бы втроём в рубке, и я рассказывал бы им, какая славная планета Радуга, и как я исколесил её всю за день. Перси Диксон помалкивал бы, накручивая бороду на пальцы, а Марк бы брюзжал, что старо, скучно и везде одинаково. А завтра в это время мы бы вышли из деритринитации...

Мимо него прошла, опустив голову, та прекрасная девушка с сединой в золотых волосах, которая так вовремя прервала его неприятный разговор со Скляровым на космодроме. Она шла по самой кромке воды, и лицо её уже не казалось каменным, оно было просто бесконечно усталым. Шагах в пятидесяти она остановилась, постояла, глядя в море, и села на песок, уткнулась подбородком в колени. Сейчас же над ухом Горбовского кто-то тяжело вздохнул, и, скосив глаз, Горбовский увидел Склярова. Скляров тоже смотрел на девушку.

– Всё бессмысленно, – сказал он негромко. – Скучно жил, ненужно! И всё самое плохое прибереглось на последний день...

– Голубчик, – сказал Горбовский. – А что может быть хорошего в последнем дне?

– Вы ещё не знаете...

– Знаю, – сказал Горбовский. – Всё знаю...

– Не можете вы всего знать... Я же слышу, как вы со мной разговариваете.

– Как?

– Как с обыкновенным человеком. А я трус и преступник.

– Ну, Роберт, – сказал Горбовский. – Ну какой вы трус и преступник?

– Я трус и преступник, – упрямо повторил Роберт. – Я даже, наверное, хуже, потому что считаю, что всё делал правильно.

– Трусов и преступников не бывает, – сказал Горбовский. – Я скорее поверю в человека, который способен воскреснуть, чем в человека, который способен совершить преступление.

– Не надо меня утешать. Я же говорю, что вы не знаете всего.

Горбовский лениво повернул к нему голову. – Роберт, – сказал он, – не тратьте вы зря время. Идите вы к ней. Сядьте рядом... Мне очень удобно лежать, но если хотите, я помогу вам...

– Всё получается не так, как хочется, – тоскливо сказал Роберт. – Я был уверен, что спасу её. Мне казалось, что я готов на всё. Но оказалось, что на всё я не готов... Пойду, –

сказал вдруг он.

Горбовский следил за ним, как он шагает – сначала широко и уверенно, а потом всё медленнее и медленнее, как он всё–таки подошёл к ней, и сел рядом, и она не отодвинулась.

Некоторое время Горбовский смотрел на них, стараясь разобраться, завидует он или нет, а потом задремал по–настоящему. Его разбудило прикосновение чего–то холодного. Он приоткрыл один глаз и увидел Камилла, его вечный нелепый шлем, его вечно постное и угрюмое лицо и круглые немигающие глаза.

– Я знал, что вы здесь, Леонид, – сообщил Камилл. – Я искал вас.

– Здравствуйте, Камилл, – пробормотал Горбовский. – Наверное, это очень скучно – всё знать...

Камилл подтащил шезлонг и сел рядом в позе человека с переломленным позвоночником.

– Есть вещи поскучнее, – сказал он. – Мне всё надоело. Это была огромная ошибка.

– Как дела на том свете? – спросил Горбовский.

– Там темно, – сказал Камилл. Он помолчал. – Сегодня я умирал и воскресал трижды. Каждый раз было очень больно.

– Трижды, – повторил Горбовский. – Рекорд. – Он посмотрел на Камилла.

– Камилл, скажите мне правду. Я никак не могу понять. Вы человек? Не стесняйтесь. Я уже никому не успею рассказать. Камилл подумал.

– Не знаю, – сказал он. – Я последний из Чёртовой Дюжины. Опыт не удался, Леонид. Вместо состояния «хочешь, но не можешь» состояние «можешь, но не хочешь». Это невыносимо тоскливо – мочь и не хотеть.

Горбовский слушал, закрыв глаза.

– Да, я понимаю, – проговорил он. – Мочь и не хотеть – это от машины. А тоскливо – это от человека.

– Вы ничего не понимаете, – сказал Камилл. – Вы любите мечтать иногда о мудрости патриархов, у которых нет ни желаний, ни чувств, ни даже ощущений. Бесплотный разум. Мозг–дальтоник. Великий Логик. Логические методы требуют абсолютной сосредоточенности. Для того чтобы что–нибудь сделать в науке, приходится днём и ночью думать об одном и том же, читать об одном и том же, говорить об одном и том же... А куда уйдёшь от своей психической призмы? От врождённой способности чувствовать... Ведь нужно любить, нужно читать о любви, нужны зелёные холмы, музыка, картины, неудовлетворённость, страх, зависть... Вы пытаетесь ограничить себя – и теряете огромный кусок счастья. И вы прекрасно сознаёте, что вы его теряете. И тогда, чтобы выправить в себе это сознание и прекратить мучительную раздвоенность, вы оскоряете себя. Вы отрываете от себя всю эмоциональную половину человеческого и оставляете только одну реакцию на окружающий мир – сомнение. «Подвергай сомнению!» – Камилл помолчал. – И тогда вас ожидает одиночество. – Со страшной тоской он глядел на вечернее море, на холодеющий пляж, на пустые шезлонги, отбрасывающие странную тройную тень. – Одиночество... – повторил он. – Вы всегда уходили от меня, люди. Я всегда был лишним, назойливым и непонятным чудаком. И сейчас вы тоже уйдёте. А я останусь один. Сегодня ночью я воскресну в четвёртый раз, один, на мёртвой планете, заваленной пеплом и снегом...

Вдруг на пляже стало шумно. Увязая в песке, к морю спускались испытатели – восемь испытателей, восемь несостоявшихся нуль–перелётчиков. Семеро несли на плечах восьмого, слепого, с лицом, обмотанным бинтами. Слепой, закинув голову, играл на банджо, и все пели:

Когда, как тёмная вода,
Лихая, лютая беда
Была тебе по грудь,
Ты, не склоняя головы,
Смотрела в прорезь синевы

И продолжала путь...

Они, не оглядываясь, вошли с песней в море по пояс, по грудь, а затем поплыли вслед за заходящим солнцем, держа на спинах слепого товарища. Справа от них была чёрная, почти до зенита, стена, и слева была чёрная, почти до зенита, стена, и оставалась только узкая тёмно-синяя прорезь неба, да красное солнце, да дорожка расплавленного золота, по которой они плыли, и скоро их совсем не стало видно в дрожащих бликах, и только слышался звон банджо и песня:

...Ты, не склоняя головы,
Смотрела в прорезь синевы
И продолжала путь...

Библиотека сайта «Вселенная Братьев Стругацких» - strugatskie.com